



Лев ШЕСТОВ

**Достоевский и Ницше
(философия трагедии)**

<Фрагменты>

Предисловие

1

Философия трагедии! Может быть, такое соединение слов вызовет протест со стороны читателя, привыкшего в философии видеть последние обобщения человеческого ума, вершину той величественной пирамиды, которая называется современной наукой. Он бы, пожалуй, допустил выражение «психология трагедии» — но и то очень неохотно и с большими ограничениями, ибо в глубине души он убежден, что там, где происходит трагедия, в сущности, должны кончаться все наши интересы. Философия же трагедии, не значит ли это философия безнадежности, отчаяния, безумия — даже смерти?! Может ли тут быть речь о какой бы то ни было философии? Нас учили: предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов, — и мы сразу поняли и радостно согласились принять это учение. Великий идеалист прошлого века, знаменитый поэт, по-своему переложил в стихи эти освободительные слова: *Und der Lebende hat recht*¹, — восклицал он. Но мы пошли еще дальше: нам мало было отделаться от мертвецов, нам мало было утвердить права живых. У нас остались живые, которые своим существованием смущали и продолжают нас смущать еще более, чем погребенные, согласно учению, мертвецы. У нас остались все не имеющие земных надежд, все отчаявшиеся, все обезумевшие от ужасов жизни. Что делать с ними? Кто возьмет на себя нечеловеческую обязанность зарыть в землю этих?

Страшная задача — с первого взгляда кажется, что между созданными по образу и подобию Божию не найдется ни одного, кто имел бы достаточно жестокости и дерзновения взять ее на себя. Но это только так кажется с первого взгляда. Если находятся на земле люди, соглашающиеся ради спасения своей жизни губить своих ближних — ведь палачами большей частью были приговоренные к смертной казни или вечному заключению, — то отчего же предположить, что в *этом* предел

человеческой жестокости и бесчувственности? Каждый раз, когда пред человеком становится дилемма — погибни или осуди на гибель других, все глубочайшие и таинственнейшие инстинкты его вооружаются на защиту своего одинокого «я» против надвигающейся опасности. Роль палача считается позорнейшей только по недоразумению. История духовной жизни народов, история «культуры» говорит нам о таких проявлениях жестокости, сравнительно с которыми готовность казнить на эшафоте десятков или несколько десятков своих ближних начинает казаться пустяками. Я имею в виду отнюдь не бичей народов — Тамерланов, Аттил, Наполеонов, — и даже не католическую инквизицию. До этих героев меча и костров нам нет дела — что общего у них с философией? Нет, здесь речь идет о *героях духа*, о проповедниках добра, истины и всего прекрасного и высокого, о провозвестниках идеалов, людях, до сих пор считавшихся исключительно призванными к борьбе со всеми злобными, «дурными» проявлениями человеческой природы. Имен я называть не буду, и у меня есть на то свои очень важные основания. Ибо если уже говорить, то пришлось бы сказать многое такое, о чем до времени не мешает и помолчать. Но ведь и не в именах дело, а в величайшем событии, происшедшем в моральной жизни народов — развившемся незаметно, исподволь, как будто без всяких усилий со стороны отдельных личностей, — в нарождении идеализма.

Идеализм существует уже давно, более двух тысячелетий, но до новейшего времени роль его была относительно незначительной. Даже у самого Платона, совершенно справедливо считающегося, с формальной стороны, отцом и родоначальником этого высокого учения, вы не раз наблюдаете странную непоследовательность в мыслях и аргументации, объясняемую единственно лишь тем, что он был еще далек от той «чистоты» идеалистического воззрения, до которого доросло наше время. В его рассуждениях еще так явственны следы антропоморфического понимания божества, что даже современный студент, чуть-чуть лишь посвященный в глубины нашей науки, не раз улыбнется в сознании своего превосходства при чтении его диалогов. Платон, с нашей точки зрения, еще варвар, он еще не знает ничего о наших объединяющих принципах: ведь даже Аристотель отделял небо от земли. Нет, настоящий, *чистый* идеализм есть продукт последних двух веков. Он явился одновременно с упрочившейся в науке тенденцией к «монистическому» миропониманию.

Современный ум не выносит философии, предлагающей ему несколько основных принципов. Он стремится во что бы то ни стало к монизму — к объединяющему, как у нас говорят, вернее — к единому началу. Он даже с трудом уже выносит дуализм: нести на себе два принципа уже ему кажется слишком большим бременем. И он всячески

ищет себе облегчения, он готов даже в случае нужды принять на веру какую-нибудь тонкую нелепость, лишь бы не считаться со сложностью. Дух и материя — это так много: не лучше ли что-нибудь одно — либо дух, либо материя? Или, в крайнем случае, не лучше ли всего признать, что дух и материя суть разные стороны одной и той же сущности? Правда, никто до сих пор не понимал, каким образом дух и материя могут быть «разными сторонами», но в философии, особенно новейшей, это далеко не единственное объяснение, которого никто никогда не понимал. Даже более того: такими объяснениями, если только они ловко и своевременно прилаживались, она крепче всего и держалась. Главное, чтоб не было лишних принципов!..

В этом смысле наиболее всего, конечно, удовлетворяла пантеистическая точка зрения, соответственным образом поддержанная и объясненная, и ее популярная форма — материализм, обходящийся, как известно, минимумом иностранных слов и отвлеченных понятий. Но иностранные слова и отвлеченные понятия пугают только непривычную к делу большую публику; в философских же сферах они, наоборот, пользуются полным доверием и даже имеют большую притягательную силу. Посвященные люди знают, что с этими трудностями легко освоиться. Лишний термин, новое понятие, как бы они ни были построены, в конце концов, не только ничему не мешают, но даже в известных случаях дают выход из затруднительного положения. Они же и подбираются не случайно, а систематически, с известными, строго определенными целями. Мешать может только «принцип», вводящий за собой в философскую область множество новых, не приспособившихся к системе и дерзко требующих к себе внимания явлений. Вот тут-то философу и необходима вся сила убеждения, чтобы закрыть вход назойливому прищельцу. Вот тут-то и нужна вся высота и непроницаемость *идеалистических* стен, надежно ограждающих науку от жизни. Философия хочет быть во что бы то ни стало «наукой», такой же наукой, как математика, и если этого нельзя достигнуть никаким иным путем, то, во всяком случае, выручит теория познания. Она докажет, что не обо всем можно спрашивать философию, что ее даже и спрашивать совсем нельзя, а только можно слушать, что она говорит. На этих условиях, только на этих условиях она соглашается раскрывать свои тайны жаждущим истины, и так как до сих пор неоткуда было черпать истину, то к философии шли, ее слушали и вспоминали ее учения если не в тех случаях, когда приходилось решать какой-нибудь трудный жизненный вопрос, то по крайней мере в тех случаях, когда нужно было «учить» других.

Жестоко, однако, ошибется тот, кто захочет увидеть в задачах, поставляемых себе теорией познания, только одни теоретические

притязания. Если бы дело обстояло так, то, по всей вероятности, современное мировоззрение и не имело бы такого распространения, с одной стороны, — да и не встречало бы столько вражды. Ницше утверждает, что всякая философия есть своего рода мемуары и невольные признания философа. Я думаю, что этим еще не все сказано. В философской системе, кроме исповеди, вы, в последнем счете, непременно найдете еще нечто несравненно более важное и значительное: *самооправдание* ее автора, а вместе с ним и обвинение, обвинение всех тех, которые своей жизнью так или иначе возбуждают сомнения в безусловной справедливости данной системы и высоких нравственных качествах ее творца. Бескорыстное искание истины, которым когда-то так любили похваляться люди, — мы в него уже не верим и не можем верить. Да и как в него верить, когда для всех теперь очевидно, что мы, собственно, *не знаем, чего мы хотим*, когда говорим, что хотим истины. Может быть, желать истины — значит желать покоя, может быть, это значит желать нового стимула для борьбы, а может быть, это значит желать найти какую-нибудь особенно оригинальную, никому еще в голову не приходившую «точку зрения». Все может быть! Но если, с формальной стороны, всякая система стремится положить конец бесконечным «почему», так ловко изобретаемым нашим во всех прочих отношениях столь малоизобретательным умом, то с внутренней стороны, по своему содержанию, всякая философия, повторяю, непременно и безусловно преследовала цели самооправдания, хотя бы она себе в этом и не давала отчета. И идеализму эта цель была всегда присуща. Он ставил людям задачи и возносил тех, которые соглашались принимать на себя эти задачи; тех же, которые от них отказывались, он предавал проклятию и позору, никогда не имея ни терпения, ни охоты справляться о причинах, в силу которых его учение в известных случаях (и так часто!) отвергалось. У него заранее было готово объяснение для всех случаев своей неудачи; там, где его не принимали, он утверждал, что наталкивался на безумие или на злую волю. Он обзавелся категорическим императивом, дававшим ему право считать себя самодержавным монархом и законно видеть во всех, отказывавших ему в повиновении, непокорных бунтовщиков, заслуживающих пытки и казни. И какую утонченную жестокость проявлял категорический императив каждый раз, когда нарушались его требования! Тем, у которых плохое воображение и малый опыт в этих делах, я рекомендую перечитать шекспировского «Макбета». Он пояснит доверчивым людям, чего добивался идеализм и, главное, какими средствами! Может быть, человеческая душа и точно слишком упорный материал, может быть, нужно было наряду с прочими «бичами» ниспослать бедным смертным и идеализм. Но ведь это все

одни оптимистические догадки, а с точки зрения гуманного и строго научного современного ума — даже и не догадки, а чистейшая, не заслуживающая никакого доверия мифология. Кто серьезно признает, что бичи бичуют не в силу механических законов, а ради каких-либо высших целей? А если так, то нечему удивляться, что среди испытанных на себе их воспитательные приемы людей не все соглашались целовать карающую руку...

2

У нас, да и не только у нас, а и в Европе (теперь ведь уровень идей во всех странах один и тот же, как уровень воды в сообщающихся сосудах) давно уже художественное творчество принято считать бессознательным душевным процессом. По-видимому, этими взглядами была вызвана к жизни так называемая литературная критика. Художники недостаточно сознательно делают свое дело, нужно, чтоб кто-нибудь их проверил, объяснил, в сущности — дополнил. Литературные критики сами приблизительно так понимали свою роль и из сил выбивались, чтоб связать как-нибудь свое сознательное мышление с бессознательным творчеством подлежащих их обсуждению художественных произведений. Иногда эта задача оказывалась гораздо более трудной, чем можно было ожидать. Художественное произведение не вязалось ни с одной из тех семи признанных идей, без которых решительно немыслимо никакое «сознательное» отношение к жизни. В тех случаях, когда приходилось иметь дело с художником второстепенным или даже бездарным, — критики не задумывались. Отсутствие идеи ставилось на счет недостаточности таланта, даже более того — приводилось как причина недостаточного дарования, и таким образом как будто бы подтверждалась «вечная» истина, что поэты, сами того не подозревая, должны преследовать те же цели, которые имеют и критики, если только хотят, чтоб их труд не пропадал бесплодно. В конце концов получалось, что поэтическое бессознательное творчество все же служит и должно служить тому же, чему служит и сознательное творчество критиков — и опасный момент проходил благополучно.

Но бывало и так, что критику попадалось в руки произведение значительного художника, звезды первой величины. Критик заранее расположен к автору и готов предъявить к нему самые снисходительные требования. Он простит ему отсутствие политического идеала — хотя бы ему очень хотелось найти именно у этого художника поддержку своей партии. Он простит ему, скрепя сердце, и равнодушие к общественным задачам, служению которым, по его мнению, должны быть посвящены все силы страны. Но он убежден, что найдет в новом про-

изведении по крайней мере невольно (бессознательно) высказанные симпатии к вековым нравственным идеалам. По крайней мере это, хотя бы только это. Пусть поэт воспекает добро, истину и красоту — если это у него будет, критика позаботится обо всем остальном. Но если и того не будет? Если художник забудет о красоте, посмеется над истиной и пренебрежет добром? Мне скажут, что этого не бывает. Но я предложу из области отвлеченных разговоров перейти на частный пример. Один, конечно, пример. Предисловие — слишком узкие рамки для того, чтобы вместить в себе значительный литературный материал. Но надеюсь, что этот пример напомним тем, которые перестали бояться вспоминать, и многие другие в том же роде.

Я говорю о «Герое нашего времени» Лермонтова. Как известно, Белинский написал об этом романе большую, очень страстную и горячую статью, доказывавшую, что Печорин оттого пустился на свои злодейские дела, что не находил в России начала прошлого века настоящего приложения своим громадным силам. Я не помню сейчас точно, написана ли эта статья по поводу первого или второго издания «Героя нашего времени», но, так или иначе, сам Лермонтов тоже счел необходимым дать объяснение своему роману, что и сделал в предисловии ко второму изданию его. Предисловие короткое — меньше двух страниц. Но оно несомненно свидетельствует об одном обстоятельстве: Лермонтов, когда хотел, умел удивительно «сознательно» относиться к своим произведениям и проводить «идеи» не хуже любого критика. В своем предисловии он прямо заявляет, что, вопреки распространившимся толкам, в Печорине автор вовсе не изображал и не хотел изображать ни самого себя и даже ни героя вообще, а имел лишь целью представить «пороки» нашего времени. Зачем? — спросите вы. И на это есть ответ. Обществу необходимо прежде всего понять себя, дать себе отчет в своих недостатках. «Будет уже и того, — кончает он свое объяснение, — что болезнь указана, а как ее излечить — уже Бог знает». Как видите, Лермонтов в предисловии почти сходится с Белинским. Печорин — болезнь, и ужасная болезнь общества. Только в его объяснении нет горячности и страсти, да и обнаруживается одно странное обстоятельство: *болезнь* общества его крайне интересует, до лечения же ему почти нет, а то и прямо нет никакого дела...

Отчего же у человека, так умевшего открыть и описать болезнь, нет никакого желания лечить ее? И, вообще, отчего предисловие так спокойно, хотя и сильно написано?

Ответ на этот вопрос вы найдете в романе: там с первых же страниц вы убедитесь, что если Печорин и болезнь, то это одна из тех болезней, которые автору дороже всякого здоровья. Печорин — больной, но кто же здоровый? Штабс-капитан Максим Максимыч, Грушницкий

с его приятелями или, наконец, если брать в расчет женщин, милая княжна Мери или дикарка Белла? Поставьте только такой вопрос — и вы сразу поймете, зачем написан «Герой нашего времени», а также для чего было потом сочинено предисловие. Печорин изображен в романе победителем. Пред ним все, решительно все остальные действующие лица уничтожаются. Нет даже, как в пушкинском «Онегине», Татьяны, которая хотя бы раз за все время напомнила герою, что на свете существует нечто более священное, нежели его, Печорина, воля, что есть долг, идея или что-нибудь в таком роде. На пути своем Печорин встречает силу и хитрость, но и ту и другую побеждает умом и непреклонностью своего характера. Попробуйте судить Печорина; у него нет никаких недостатков, кроме одного — жестокости. Он смел, благороден, умен, глубок, образован, красив, даже богат (и это — достоинство!), а что касается жестокости, то он, хотя и знает за собою этот порок и говорит о нем часто, но увы! — когда столь высокоодаренный человек и проявляет какой-нибудь недостаток, этот недостаток ему к лицу, более того — начинает сам по себе казаться качеством, и прекрасным качеством. Сам Печорин по поводу своей жестокости сравнивает себя с роком! Да и что с того, что куча разной мелюзги становится жертвой великого человека?! «Главное, чтобы болезнь была указана, а как лечить ее — Бог знает». Эта маленькая ложь, заключающая собою короткое предисловие к длинному роману, чрезвычайно характерна. Вы ее не у одного Лермонтова найдете. Почти у всякого большого поэта, не исключая и Пушкина, от времени до времени, когда описание «болезни» становится слишком соблазнительным, она наскоро, между делом, выбрасывается читателю как дань, от которой не свободны и привилегированнейшие умы. И у Пушкина тоже: вспомните его самозванцев, сказку Пугачева об орле и вороне и ответ Гринёва. Там, где критики отмечают болезнь, «бессознательное» творчество тоже видит своего рода ненормальность, нечто такое, что имеет свои страшные и загадочные стороны. Но критика ничего, кроме болезни, не видит и спешит *quand même*² изыскивать способ лечения. Художник же об этом не думает и только для приличия смягчает свое суждение общепринятой фразой... Из всего этого следует, что если уже употреблять выражение «бессознательное творчество», то его следует отнести не к художникам, а именно к критикам, всегда стремившимся пристегнуть к изображаемым в поэтических произведениях жизненным событиям какие-нибудь готовые, на веру принятые идеи. У художников не было «идей», это — правда. Но в этом и сказывалась их глубина — и задача искусства отнюдь не в том, чтоб покориться регламентации и нормировке, придумываемым на тех или иных основаниях разными людьми, а в том, чтобы порвать цепи, тяготеющие

над рвущимся к свободе человеческим умом. «Печорины — болезнь, а как ее излечить, знает лишь один Бог». Перемените только форму, и под этими словами вы найдете самую задушевную и глубокую мысль Лермонтова: как бы ни было трудно с Печоринскими — он не отдаст их в жертву середине, норме. Критик точно хочет лечить. Он верит или обязан верить в современные идеи — в будущее счастье человечества, в мир на земле, в монизм, в необходимость уничтожения всех орлов, питающихся живым мясом, выражаясь языком Пугачева, ради сохранения воронья, живущего падалью. Орлы и орлиная жизнь — это «ненормальность»...

Ненормальность! Вот страшное слово, которым люди науки пугали и до сих пор продолжают пугать всякого, кто еще не отказался от умирающей надежды найти в мире что-нибудь иное, кроме статистики и «железной необходимости»! Всякий, кто пытается взглянуть на жизнь иначе, нежели этого требует современное мировоззрение, может и должен ждать, что его зачислят в ненормальные люди. Зачислят — было бы еще ничего, может быть, даже знаком отличия! Весь ужас в том, что никто, решительно никто из ныне живущих, по-видимому, сам не в силах долго выносить мысль о возможности иного миропонимания. Каждый раз, когда ему приходит на ум, что современные истины — все же суть только истины своего времени и что наши «убеждения» могут быть столь же ложны, как и верования самых отдаленных предков наших, — ему самому начинает казаться, что он покинул единственно правильный путь и прямо идет к ненормальности. Разительный пример тому — граф Толстой. Как ненавистен, как противен был ему весь строй современной мысли! Еще с молодых лет он ко всему, к чему наука говорила «да», говорил «нет», не останавливаясь даже перед опасностью сказать нелепость. Он готов был верить безграмотному мужику, глупой бабе, ребенку, мещанину в сермяге, толстому купцу — только бы они говорили иначе, чем люди науки! А между тем он кончил тем, что в главном принял все, чему учит наука, и так же держится «положительных» идеалов, как и большинство реформаторов в Европе. Его христианство есть идеал устроенного человечества. От искусства он требует проповеди добрых чувств, от науки — советов мужику. Он не понимает, зачем поэты тоскуют и стремятся выразить тончайшие оттенки своих настроений, ему кажутся странными эти беспокойные искатели, шатающиеся по северному полюсу или проводящие бессонные ночи в наблюдении звездного неба. Зачем все эти стремления к неизвестному, неизведанному? Все это бесполезно, значит — *ненормально*. Страшный призрак «ненормальности» все время давил и давит этот колоссальный ум и заставляет его мириться с посредственностью,

в себе самом искать посредственности. Его страх понятен: хотя современность и выдвинула вновь идею о родстве гениальности и безумия, но мы все по-прежнему больше смерти боимся сумасшествия. Какое бы там ни было родство — гениальность есть гениальность, безумие — безумие. И скорее безумный скомпрометирует своим обществом гения, чем гений оправдает безумие. Мы можем сомневаться в чем угодно — но это для нас аксиома, и всякого рода опыты над собой мы кончаем там, где нам начинает грозить безумие. Исследования Ломброзо не осветили ни одним лучом того мрака, который наша слепота и современная положительность сгустили над безумием. Правда, Ломброзо был неподходящий человек для такого дела. Он тоже в конце концов эксперименталист и судит только по внешним признакам о чуждых ему душевных состояниях. Может быть, результаты его изысканий были бы более плодотворны, если бы в нем самом была хотя бы одна искра гения или немного безумия. Но ни того ни другого у него не было. Он даровитый позитивист, и только. Теория не заставит человека перейти черту, за которой его ждет безумие, — и гр. Толстой вернулся к положительным идеалам. Есть область человеческого духа, которая не видела еще добровольцев: туда люди идут лишь поневоле.

Это и есть область трагедии. Человек, побывавший там, начинает иначе думать, иначе чувствовать, иначе желать. Все, что дорого и близко всем людям, становится для него ненужным и чуждым. Он еще, правда, связан до некоторой степени со своей прежней жизнью. В нем сохранились еще кой-какие верования, к которым его приучили с детства, в нем еще отчасти живы старые опасения и надежды. Может быть, не раз в нем просыпается мучительное сознание ужаса своего положения и стремление вернуться к своему спокойному прошлому. Но «прошлого не вернешь». Корабли сожжены, все пути назад заказаны — нужно идти вперед к неизвестному и вечно страшному будущему. И человек идет, почти уже не справляясь о том, что его ждет. Ставшие недоступными ему мечты молодости начинают казаться ему лживыми, обманчивыми, противоестественными. С ненавистью и ожесточением он вырывает из себя все, во что когда-то верил, что когда-то любил. Он пытается рассказать людям о своих новых надеждах, но все глядят на него с ужасом и недоумением. В его измученном тревожными думами лице, в его воспаленных, горящих незнакомым светом глазах люди хотят видеть признаки безумия, чтобы приобрести право отречься от него. Они зовут на помощь весь свой идеализм и свои испытанные теории познания, которые так долго давали им возможность спокойно жить среди загадочной таинственности происходящих на их глазах ужасов. Ведь помог же идеализм забыть многое, неужели его сила и очарование исчезли и он должен будет уступить

пред натиском нового врага? И с раздражением, смешанным с плохо скрытой тревогой, они повторяют старый вопрос: да кто же, наконец, такие все эти Достоевские и Ницше, что говорят как власть имеющие? И чему они нас учат?..

Но они ничему нас не «учат». Нет большего заблуждения, чем распространенное в русской публике мнение, что писатель существует для читателя. Наоборот — читатель существует для писателя. Достоевский и Ницше говорят не затем, чтоб распространить среди людей свои убеждения и просветить ближних. Они сами ищут света, они не верят себе, что то, что им кажется светом, есть точно свет, а не обманчивый блуждающий огонек или, хуже того, — галлюцинация их расстроенного воображения. Они зовут к себе читателя, как свидетеля, они от него хотят получить право думать по-своему, надеяться, — право существовать. Идеализм и теория познания прямо возвещают им: вы безумцы, вы безнравственные, осужденные, погибшие люди. И они апеллируют к последней возможной инстанции, в надежде, что этот страшный приговор будет отменен... Может быть, большинство читателей не хочет этого знать, но сочинения Достоевского и Ницше заключают в себе не ответ, а вопрос. Вопрос: имеют ли надежды те люди, которые отвергнуты наукой и моралью, т.е. возможна ли философия трагедии?

...Aimes-tu les damnés?
Dis moi, connais-tu l'irrémissible?
*Ch. Baudelaire*³

I

«Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения своих убеждений, тем более что это, быть может, и не так любопытно», — говорит Достоевский в своем дневнике писателя за 1873 г.* Трудно-то наверно. Но чтоб было не любопытно — с этим едва ли кто-нибудь согласится. История перерождения убеждений — разве может быть во всей области литературы какая-нибудь история, более полная захватывающего всепоглощающего интереса? История перерождения убеждений — ведь это прежде всего история их рождения. Убеждения вторично рождаются в человеке — на его глазах, в том возрасте, когда у него достаточно опыта и наблюдательности, чтобы сознательно следить за этим великим и глубоким таинством своей души. Достоевский не был бы психологом, если бы такой процесс

* Соч. Достоевского, т. 9, с. 342 (издания Маркса).

мог бы пройти для него незамеченным. И он не был бы писателем, если бы не поделился с людьми своими наблюдениями. Очевидно, вторая половина приведенной фразы сказана так себе, для приличия, требующего от писателя хотя бы внешнего пренебрежения к своей особе. На самом деле Достоевский слишком хорошо знал, какое решающее значение может иметь для нас вопрос о рождении убеждений; знал он также, что хоть сколько-нибудь выяснить этот вопрос можно лишь одним путем: рассказав собственную историю. Помните слова героя из «Записок из подполья»? «О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?.. Ответ: о себе. Ну, так я буду говорить о себе» *. Сочинения Достоевского в значительной степени осуществляют эту программу. С годами, по мере того как зреет и развивается его дарование, он все смелее и правдивее говорит о себе. Но вместе с тем до конца своей жизни он продолжает всегда более или менее прикрываться вымышленными именами героев своих романов. Правда, тут уже дело идет не о литературном или житейском приличии.

Под конец своей деятельности Достоевский не побоялся бы нарушить и более серьезные требования междучеловеческих отношений. Но ему постоянно приходится говорить через своих героев такие вещи, которые и в его сознании, быть может, не отлились бы в столь резкой и определенной форме, если бы они не являлись ему в обманчивом виде суждений и желаний не собственного я, а несуществующего героя романа. В примечании к «Запискам из подполья» вы это почувствуете особенно сильно. Там Достоевский настаивает на том, что «автор записок, как и сами записки, вымышлены» и что он лишь поставил себе задачей изобразить «одного из представителей доживающего поколения». Такого рода приемы, конечно, достигают прямо противоположных целей. Читатель с первых же страниц убеждается, что вымышлены не записки и их автор, а объяснительное к ним примечание. И если бы Достоевский в своих дальнейших произведениях держался все той же системы примечаний — его творчество не давало бы столько поводов к самым разнообразным толкованиям. Но примечание для него не было лишь пустой формой. Ему самому страшно было думать, что «подполье», которое он так ярко обрисовывал, было не нечто ему совсем чуждое, а свое собственное, родное. Он сам пугался открывшихся ему ужасов и напрягал все силы души своей, чтоб закрыться от них хоть чем-нибудь, хоть первыми попавшимися идеалами. Таким образом и создались фигуры князя Мышкина и Алеши Карамазова. Отсюда и неистовые проповеди, которыми переполнен его «Дневник

* Т. 3, ч. 2, с. 74.

писателя». Все это лишь хочет напомнить нам, что Раскольниковы, Ивановы Карамазовы, Кирилловы и другие действующие лица романов Достоевского говорят сами за себя и ничего общего с их автором не имеют. Все это лишь новая форма примечания к «Запискам из подполья».

К сожалению, примечание на этот раз так тесно сплетено с текстом, что нет уже возможности чисто механически отделить действительные переживания Достоевского от измышленных им «идей». Правда, возможно до некоторой степени указать, в каком направлении следует производить деление. Так, например, все банальности и общие места ничего нам не говорят о самом Достоевском. Все это — заимствования. Нетрудно даже угадать источники, из которых их черпал Достоевский, правду сказать, довольно щедрой рукой. Второй признак — форма изложения. Как только в речи Достоевского послышится истерика, необычайно высокие ноты, неестественный крик — вы с несомненностью можете заключить, что это начинается «примечание». Достоевский уже сам не верит своим словам и пытается недостаток веры заменить «чувством», красноречием. Такое отчаянное, захлебывающееся красноречие, может быть, и действует неотразимо на грубое ухо. Но более опытному слуху оно говорит о совсем ином.

Само собою разумеется, что указанные признаки далеко не дают математически правильного приема для разрешения занимающего нас здесь вопроса. И с ними остается достаточно простора для сомнений, неясностей. Возможны, конечно, ошибки в истолковании отдельных мест сочинений Достоевского, даже целых романов. На что же надеяться в таком случае? На критическое чутье?! Но читатель недоволен таким ответом. От него отдает мифологией, старостью, плесенью, ложью — даже *умышленной* ложью. Ну, что ж? Тогда остается одно: произвол. Может быть, это слово своей откровенной правдивостью более расположит к себе слишком требовательных людей, заподозривших права критического чутья — в особенности если они догадаются, что *après tout*⁴ этот произвол будет не совсем уже произвольным.

Так или иначе, задача наша определена. Нам нужно выполнить намеченное, но не выполненное самим Достоевским дело: рассказать историю перерождения его убеждений. Замечу лишь здесь, что перерождение было действительно необыкновенное. От прошлых убеждений Достоевского, от того, во что он веровал в молодости, когда впервые вошел в кружок Белинского, не осталось ни следа. Обыкновенно люди считают поверженных кумиров все же богами и оставленные храмы — храмами. Достоевский же не то что сжег — он втоптал в грязь все, чему когда-то поклонялся. Свою прежнюю веру он уже не только ненавидел — он презирал ее. Таких примеров в истории литерату-

ры немного. Новейшее время, кроме Достоевского, может назвать только Ницше. С Ницше была точно такая же история. Его разрыв с идеалами и учителями молодости был не менее резким и бурным, а вместе с тем и болезненно мучительным. Достоевский говорит о перерождении своих убеждений, у Ницше идет речь о переоценке всех ценностей. В сущности, оба выражения — лишь разные слова для обозначения одного и того же процесса. Если взять во внимание это обстоятельство, то, пожалуй, теперь не покажется странным, что Ницше имел такое высокое мнение о Достоевском. Вот его подлинные слова: «Достоевский, это — единственный психолог, у которого я мог кой-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни» *. Ницше признал в Достоевском своего родного человека.

И точно, если людей сближает, роднит не общность происхождения, не совместное жительство или сходство характеров, а одинаковость внутреннего опыта, то Ницше и Достоевский без преувеличения могут быть названы братьями, даже братьями близнецами. Я думаю, что если бы они жили вместе, то ненавидели бы друг друга той особенной ненавистью, которую стали питать один к другому Кириллов и Шатов (в «Бесах») после совместного американского путешествия, во время которого им пришлось впроголодь пролежать вместе четыре месяца в сарае. Но Ницше узнал Достоевского только по его книгам и тогда, когда его уже не было в живых. Мертвому же можно все простить — даже и то, что он знает тайну, открывшуюся Кириллову и Шатову в сарае. Он не выдаст...

Однако Ницше ошибся. Никто в такой мере не может выдать его, как именно Достоевский. Правда, и обратно: многое, что было темно в Достоевском, разъясняется сочинениями Ницше. На первый раз отметим одно поразительное обстоятельство. Достоевский, как известно, любил пророчествовать. Охотнее всего он предсказывал, что России суждено вернуть Европе забытую там идею всечеловеческого братства. Одним из первых русских людей, приобретших влияние на европейцев, был сам Достоевский. И что же, привилась его проповедь? О ней поговорили, ей даже удивлялись — но ее *забыли*. Первый дар, который Европа с благодарностью приняла от России, была «психология» Достоевского, т.е. подпольный человек, с его разновидностями, Раскольниковыми, Карамазовыми, Кирилловыми. Не правда ли, какая глубокая ирония судьбы? Но судьба охотнее всего смеется над идеалами и пророчествами смертных — и, нужно думать, в этом сказывается ее великая мудрость.

* Nietzsche's Werke. T. VIII, 158.

II

Литературная деятельность Достоевского может быть разделена на два периода. Первый начинается «Бедными людьми» и кончается «Записками из Мертвого дома». Второй начинается с «Записок из подполья» и заканчивается «Пушкинской речью», этим мрачным апофеозом всего творчества Достоевского. Из записок подпольного человека, находящихся таким образом на рубеже двух периодов, читатель внезапно и совершенно неожиданно для себя узнает, что пока писались другие романы и статьи, в Достоевском происходил один из ужаснейших кризисов, которые только способна уготовить себе и вынести человеческая душа. Что было тому причиной? Каторга? По-видимому — нет; по крайней мере не непосредственно. После каторги Достоевский написал целый ряд статей, в которых не только не отказывался от своих прошлых убеждений, но возвещал их с такой силой таланта и дарования, о которой он не смел и мечтать в молодые годы. Ведь после каторги написаны «Записки из Мертвого дома» — роман, который все единодушно, даже враги нового направления Достоевского, до сих пор восхваляют как «особенно» достойное произведение, вернее, как произведение, стоящее особо от всех прочих позднейших его романов. Здесь еще целиком тот Достоевский, первой повестью которого так горячо зачитывались в кружке Белинского. По «идее», по «убеждениям» «Записки из Мертвого дома» несомненно принадлежат верному ученику «неистового» Виссариона, Жорж Санд и французских идеалистов первой половины истекшего столетия.

Здесь то же почти, что и в «Бедных людях». Правда, здесь есть и кой-что новое: есть чутье действительности, готовность увидеть жизнь такой, какова она на самом деле. Но кто же мог думать, что чутье действительности грозит хоть отчасти убеждениям и идеалам? Все, в том числе и сам Достоевский, менее всего допускали такое предположение. Действительность, конечно, мрачна и неприглядна, особенно действительность каторги, а идеалы ясны и светлы. Но эта противоположность ведь и была той почвой, на которой выростали идеалы: она не только не опровергала — она их оправдывала. Оставалось только подгонять и пришпоривать действительность до тех пор, пока расстояние между ней и идеалами не дойдет до бесконечно малой величины, до нуля. Соответственно этому и изображение мрачной действительности преследовало одну единственную цель — борьбу с ней и ее уничтожением в далеком, но казавшемся близким будущем.

В этом смысле «Бедные люди» и «Записки из Мертвого дома» вышли из одной школы и имеют одну и ту же задачу; разница лишь

в мастерстве автора, успевшего за 15 лет значительно усовершенствоваться в искусстве писания. В «Бедных людях», так же как в «Двойнике» и «Хозяйке», вы имеете дело с неловким еще, хотя и даровитым учеником, вдохновенно популяризирующим великого мастера, Гоголя, объясненного ему Белинским. Читая названные рассказы, вы вспоминаете, конечно, «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Страшную месть» и, вероятно, думаете про себя, что не было нужды популяризировать. Читатель, пожалуй, немного потерял бы, если бы первые рассказы Достоевского навсегда остались в голове их автора. Но писателю они нужны были. С самых юных лет Достоевский, словно предчувствуя свою будущую задачу, упражняется в изображении мрачных и тяжелых картин. Пока он копирует — но придет его время, он покинет своего учителя и будет писать за свой страх. Конечно, странно видеть в юноше пристрастие к серым и темным краскам, а Достоевский ведь никогда не знал других. Неужели, спрашиваете вы себя, он не смел идти к свету, к радости? Неужели в ранней уже молодости он инстинктивно чувствовал потребность принести всего себя в жертву своему дарованию? Но это — так: талант есть *privilegium odiosum*⁵ — он редко дает своему обладателю земные радости.

До сорока лет Достоевский терпеливо несет на себе бремя своего таланта. Ему кажется, что бремя это легко, что такое иго — благо. С каким восторгом вспоминает он в «Униженных и оскорбленных» о своих первых литературных опытах! По его словам, он испытал высшее счастье не тогда, когда произведение его было напечатано, и не тогда даже, когда он впервые услышал о нем необычайно лестные отзывы из уст лучших писателей и знатоков литературы того времени. Нет, счастливейшими часами своей жизни он считает те, когда, никому еще неведомый, он в тишине работал над своей рукописью, обливаясь слезами над вымыслом — над судьбой загнанного и забитого чиновника, Макара Девушкина. Я не знаю, вполне ли здесь искренен Достоевский и точно ли он испытал *наибольшее* счастье тогда, когда обливался слезами над вымыслом. Может быть, в этом и есть некоторое преувеличение. Но если даже и так, если Достоевский, делая такое признание, только отдает дань господствовавшей в его время и разделявшейся им самим точке зрения, то и тогда его слова своей странностью могут и должны возбудить в нас тревожное и подозрительное чувство. Что это за человек, что это за люди, которые вменяют себе в обязанность так безумно радоваться по поводу измышленных ими злоключений несчастного Макара Девушкина? И как можно совместить «счастье» со слезами, которыми они же сами, по их словам, обливаются над своим ужасным вымыслом? Заметьте, что «Униженные и оскорбленные» написаны в таком же стиле, как и «Бедные люди».

Промежуток в 15 лет нисколько не «исправил» в этом отношении Достоевского. Прежде он обливался слезами над Девушкиным, теперь — над Наташей. Что же касается восторгов творчества, то они, как известно, никогда не оставляют писателя.

Казалось бы, на первый взгляд, что ничего не может быть противостественнее и — простите слово — отвратительнее, нежели все эти соединения слез с восторгами. Откуда, с чего взялись восторги? Человеку нужно рассказать, что Макара Девушкина или Наташу обидели, истерзали, уничтожили; кажется — радоваться нечего. Но он проводит за своими рассказами целые месяцы, годы и потом публично, открыто, не стесняясь, более того — очевидно гордясь, заявляет, что это — лучшие моменты его жизни. От публики, читающей такого рода произведения, требуют таких же настроений. Требуют, чтоб и она обливалась слезами и чтоб вместе с тем она не забывала радоваться. Правда, эти требования имеют свои основания. Предполагается, что таким образом пробуждаются добрые чувства: «Сердце захватывает, познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой»*. И вот, чтобы распространить среди читателей эту идею, нужен особый класс людей, которые в течение всей своей жизни занимаются главным образом тем, что, созерцая в своей фантазии всевозможные ужасы и уродства, существующие в таком огромном разнообразии на земле, изображают их в своих книгах. Картины должны быть яркие, живые, захватывающие, потрясающие; они должны с неведомой силой ударять по сердцам. Иначе их осудят, иначе — они не произведут желательного действия...

Оставим в стороне читателей с их сердцами и добрыми чувствами. Но каково должно быть положение писателя, взявшего на себя печальную обязанность будить чужую совесть изображением разного рода ужасов? Хорошо, если ему удастся собственную совесть хоть на время так заморозить, чтоб картины, предназначенные действовать на других людей, проходили бесследно для нее самой.

Это будет, конечно, противоестественно, но, как мы видели, психологически это возможно. Если Достоевский и преувеличенно передает о своих первых беседах с Музой, то во всяком случае в его рассказе есть и несомненная правда. Наверное много сладких часов принес ему бедный Макар Девушкин. Молодость, неопытность, пример старших, заведомо лучших людей, — из таких элементов может составиться какая угодно несообразность. Вспомните, на какие только дела ни решались люди, когда впереди, хоть издалека, сверкнет бывало пред ними в своем блестящем ореоле «идея». Все забывалось, все приносилось ей

* «Униженные и оскорбленные», с. 29.

в жертву — не только сочиненный Макар Деушкин, с которым еще лишь нужно «сжиться, как будто с родным и действительно существующим», — а настоящие, живые люди, даже родные, покидались, когда заходила речь о служении идее. Удивительно ли, что можно было чувствовать себя счастливым, имея пред собой фантастическое лицо оплеванного чиновника?! Но как бы то ни было и что бы тут ни было замешано, роль изобразителя мрачной действительности тем опаснее и страшнее, чем искренней и полней ей отдаются и чем даровитей человек, взявший ее на себя. Талант есть, повторяю, *privilegium odiosum*, и Достоевский, как и Гоголь, рано или поздно должен был почувствовать, как тяжело его бремя.

III

«Познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой». Этими словами вполне исчерпывается та идея, ради которой вступил впервые на литературное поприще Достоевский. Новизной, как видите, она не блещет. Не блистала она этим качеством и в то время, когда начинал писать Достоевский. Она не им была впервые возведена. В пятидесятых годах и долго еще впоследствии она властвовала над умами всех лучших русских людей. В то время наиболее замечательным выразителем ее был Белинский, к которому она в свою очередь пришла под обаятельным тогда именем гуманности с Запада. Хотя по своим литературным обязанностям Белинский был критиком, но по своему душевному складу он скорее может быть назван великим проповедником. И действительно, все наиболее крупные произведения литературы он видел в свете одной нравственной идеи. Его статьи о Пушкине, Гоголе, Лермонтове — на три четверти сплошной гимн гуманности. Белинский стремился по крайней мере в литературе, если нельзя было этого сделать в иных, более широких, но недоступных его влиянию сферах, провозгласить ту торжественную декларацию прав человека, которая в свое время произвела такой колоссальный переворот во Франции, откуда, как известно, главным образом и приходили к нам новые идеи. Вместе с декларацией прав человека пред обществом занесена была к нам, как ее дополнение и — так думали тогда — как ее необходимое предположение, и идея об естественной объяснимости мирового порядка.

Естественная объяснимость действительно сыграла на Западе свою освободительную роль. Для того чтобы развязать руки, реформаторам нужно было объявить весь прежний общественный строй результатом слепой игры сил. У нас, конечно, тоже на это рассчитывали. Но тогда за истиной не умели признавать служебное значение. Истина — прежде

всего истина. И естественная необходимость была введена в догму наравне с гуманностью. Трагизм объединения этих двух идей тогда никому еще не бросался прямо в глаза (исключая, отчасти, самого Белинского, но об этом — ниже). Никто еще не чувствовал, что, наряду с декларацией прав человека пред обществом (гуманностью), к нам занесли и декларацию его *бесправия* — перед природою. И менее всего подозревал это Достоевский. Со всем пылом молодого и увлекающегося человека он набросился на новые идеи. Белинского он знал еще раньше по его журнальным статьям. Личное же знакомство с ним еще более укрепило Достоевского в его вере. Впоследствии, через много лет, он рассказывает в «Дневнике писателя»: «Белинский меня невзлюбил, но я страстно принял тогда его учение»*. Достоевский не объясняет подробно, отчего Белинский невзлюбил его. Он ограничивается лишь несколькими общего характера, хотя и знаменательными словами: «Мы разошлись от разнообразных причин — весьма, впрочем, неважных во всех отношениях»**. Насколько известно, и в самом деле никаких крупных недоразумений у них не происходило. Но, с другой стороны, засвидетельствован и тот факт, что Достоевский никогда не чувствовал себя хорошо в кружке Белинского. Его там все — и сам Белинский — обижали. И, нужно думать, эти обиды действовали чрезвычайно сильно на уже тогда болезненно восприимчивого юношу. Они так глубоко запали в его душу, что впоследствии, через 25 лет после смерти Белинского, он пользуется первым случаем, чтобы расквитаться за них. В том же номере «Гражданина», из которого взяты приведенные выше слова Достоевского, вы встречаете целый ряд ядовитейших, выношенных долго в душе замечаний по адресу Белинского. Видно, крепко заныли старые раны, больно вспомнились невымещенные обиды, — если нужно было вылить столько яду на давно уже умершего учителя.

Но Достоевский был прав. Есть вещи, которые человеку не дано прощать, а стало быть, есть обиды, которые нельзя забыть. Нельзя примириться с тем, что учитель, от которого с такой радостью, так безраздельно, так безудержно принял веру, — оттолкнул тебя и насмеялся над тобой. А у Достоевского с Белинским было именно так. Когда молодой и пылкий ученик являлся в гости к учителю, чтоб еще послушать рассуждений на тему о «забитом, последнем человеке», — учитель играл в преферанс и вел посторонние разговоры. Это было больно переносить такому мягкому и верующему человеку, каким был в то время Достоевский. Но и Белинскому его ученик был в тя-

* Соч., т. 9, с. 175.

** Иб., 172.

гость. Знаете ли вы, что для иных учителей нет больших мук в мире, чем слишком верующие и последовательные ученики? Белинский уже кончал литературную деятельность, когда Достоевский только начинал свою. Как человек искушенный опытом, он слишком глубоко чувствовал, сколько опасности кроется во всяком чрезмерно страстном увлечении идеей. Он знал уже, что в глубине идеи таится неразрешимое противоречие, и потому старался держаться ее поверхности. Он понимал, что естественный порядок вещей смеется над гуманностью, которая, в свою очередь, может лишь покорно опустить голову перед непобедимым врагом. Вы помните, конечно, знаменитое письмо Белинского, в котором он требует отчета за «каждого брата по крови». Это значило, что противоречие ему уже вполне выяснилось и что гуманность его больше не удовлетворяла. Достоевский же этого не понимал, не мог понять и со всем жаром неопита в своих разговорах и писаниях постоянно возвращался к «последнему человеку». Можете себе представить, каково было Белинскому слушать своего молодого друга — тем более что и самому себе нельзя было открыто признаться в своих чувствах и мыслях!..

В результате ученик без «важных причин» покидает учителя, которому уже даже «Бедные люди» надоели и который следующее произведение Достоевского назвал «нервической чепухой». История, как видите, не из веселых. Но на ловца и зверь бежит. Оба друга унесли с собой тяжелые воспоминания о своем кратковременном знакомстве. Белинский вскоре умер, а Достоевскому еще более тридцати лет пришлось носить в себе воспоминания об отвергнувшем его учителе да биться с тем мучительным противоречием, которое досталось ему в наследие вместе с гуманностью от неистового Виссариона. Замечу здесь, что в последних своих произведениях Достоевский употреблял слово «гуманность» только иронически и всегда брал его в кавычки. Не дешево оно, значит, ему стоило! Мог ли он поверить этому, когда радовался на своего Девушкина и обнимался с Белинским, Некрасовым и Григоровичем⁶?

Разрыв с Белинским был первой пробой, которую пришлось выдержать Достоевскому. И он выдержал ее с честью. Он не только не изменил своей вере, но, наоборот, он как будто еще страстнее предался ей, хотя с самого начала у него уже было столько страстности, что, пожалуй, сравнительная степень здесь и неуместна. Вторым испытанием был арест по делу Петрашевского. Достоевского приговорили к смертной казни, которая потом была заменена каторгой. Но и тут он остался тверд и непоколебим — не только наружно, но, как видно из его собственных воспоминаний, даже в глубине души его не было никаких сомнений. Его свидетельство относится к 1873 году, т.е. к тому

времени, когда он вспоминал о своем прошлом с отвращением и негодованием, когда он готов был даже клеветать на него. Поэтому оно имеет особенную ценность, и мы приведем его здесь целиком: «Приговор смертной казни расстрелянием, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли по крайней мере десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю это положительно) инстинктивно углублялись в себя и, проверяя мгновенно всю свою столь юную еще жизнь — может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат втайне на его совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, — представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Наоборот, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга» *. Так вспоминает человек о своем прошлом через четверть века. Значит, близок был его сердцу «последний человек», значит, кровной была его связь с идеями Белинского, и распространившееся в последнее время мнение, что Достоевский лишь по недоразумению был причислен кружком Белинского к своим, тогда как на самом деле он уже в ранней молодости «душой» принадлежал к иному миру, лишено всяких оснований. И для чего, к слову спросить, понадобилось такое измышление? К чести, что ли, Достоевского? Но какая в том честь? Разве уже так необходимо, чтоб человек еще в пеленках имел целиком заготовленные на всю жизнь «убеждения»? На мой взгляд — в том необходимости нет. Человек живет и учится у жизни. И тот, кто, прожив до старости, не увидел ничего нового, скорее способен вызвать в нас удивление своей невосприимчивостью, чем внушить к себе уважение. Впрочем, я здесь менее всего хочу хвалить Достоевского за его восприимчивость. Вообще, здесь не место оценивать его духовные качества. Несомненно, что писатель был из ряду вон выходящей личностью — по крайней мере в глазах того, кто решается изучать его и говорить о нем чрез столько лет после его смерти. Но именно потому менее всего нужно еще приписывать, присочинять ему особые душевные качества. Здесь более, чем где бы то ни было, нужно уметь держать в узде личные симпатии и антипатии и не наезжать на читателя своими убеждениями, как бы благородны и возвышенны они ни были. Для нас Достоевский — психологическая

* Т. 9, с. 342.

загадка. Найти ключ к ней можно только одним способом — держась возможно строго истины и действительности. И если он сам открыто засвидетельствовал факт «перерождения своих убеждений», то попытки пройти молчанием это важнейшее событие его жизни из боязни, что оно обяжет нас к каким-либо неожиданным и непривычным выводам, заслуживают самого сурового порицания. Здесь «боязнь» неуместна. Или, иначе говоря, нужно найти в себе силы победить ее. Новая, впервые открывающаяся истина всегда отвратительна и безобразна, как новорожденный ребенок. Но в таком случае нужно отвернуться от всей жизни, от всей деятельности Достоевского, ибо его жизнь есть невольное и непрерывное искание того «безобразного», о котором здесь идет речь. Ведь недаром же человек провел десятки лет в подполье и каторге, ведь недаром же с ранней юности он не видит света Божьего и знает лишь с Деушкиными, Голядкиными, Наташами, Раскольниковыми, Карамазовыми. Видно, нет иного пути к истине, как через каторгу, подземелье, подполье... Но разве все пути к истине — подземны? И всякая глубина — подполье? Но о чем же ином, если не об этом, говорят нам сочинения Достоевского?

IV

По выходе из каторги Достоевский тотчас же с жаром принялся за писание. Первым значительным плодом его нового творчества был рассказ «Село Степанчиково и его обитатели». В этом произведении самый зоркий глаз не отыщет и намеков на то, что его автор — каторжник. Наоборот, в рассказчике вы чувствуете благодушного, доброго и остроумного человека. До того благодушного, что допускает самую счастливую развязку запутанных обстоятельств. Дядюшка, вдоволь, конечно, намучившись и натерпевшись от Фомы Опискина и матушки-генеральши, в решительную минуту проявляет беспримерную энергию и, кстати сказать, еще более беспримерную физическую силу. Фома Опискин от одного удара дядюшки летит через закрытую дверь на крыльцо, а с крыльца на двор, и так долго терзавший всех «тиран» оказывается сразу низверженным. Но и этого мало Достоевскому. Ему не хочется даже и тирана слишком больно наказывать. Фома вскоре возвращается в гостеприимное Степанчиково, но уже, конечно, не безобразничает, как прежде, хотя немножко пилить окружающих ему все же дозволяется, чтоб не слишком ему было обидно. Все необычайно довольны, и дядюшка женится на Настеньке. Такого благодушия Достоевский не проявлял ни разу, ни в одном из своих произведений — ни до, ни после каторги. Его героев постигает какая хотите участь; они сами режут людей или их режут, они сходят с ума,

вешаются, заболевают белой горячкой, умирают в чахотке, идут в каторгу — но того, что произошло в селе Степанчикове, где и глава такая есть в конце: «Фома Фомич создает всеобщее счастье», нигде больше в его романах не повторялось. А заключение — так просто пастушеская идиллия... Невольно с удивлением спрашиваешь себя: неужто так бесследно прошла для человека каторга? Неужто есть такие неисправимые идеалисты, которые, что с ними ни делай, продолжают носиться со своими идеалами и всякий ад умеют обращать в рай? Чего только ни насмотрелся Достоевский в каторге! А в сочинении своем до того наивен, что, точь-в-точь какой-нибудь 20-летний юноша, устраивает еще победу добра над злом... Доколе еще бить человека?

Как это ни странно, но по выходе из каторги Достоевский испытывал лишь одно чувство и одно желание. Чувство свободы и желание *забыть* все вынесенные ужасы. Что за дело до того, что там, где он был, теперь есть кто-либо другой? С него снята тягость и, он торжествует, радуется и снова бросается в объятия той жизни, которая когда-то так сурово оттолкнула его от себя. Вы видите, что не одно и то же «вымысел» и «действительность». Над вымыслом можно обливаться слезами и из Макара Деушкина делать предмет поэзии; но из каторги надо *бежать*. С грустными образами фантазии можно проводить целые ночи напролет в том блаженном состоянии, которое называется художественным вдохновением. Здесь чем глубже изображена обида, чем безысходнее описано горе, чем безотраднее прошедшее и чем безнадежнее будущее — тем больше чести и дела писателю. Ведь высшая похвала художнику в словах: «Он схватил и передал истинно трагический момент». Но передаватели трагических моментов боятся действительной трагедии, трагедии в жизни, не меньше, чем все прочие люди...

Я это говорю не к тому, чтоб обвинять Достоевского. И вообще я был бы очень благодарен читателю, если бы он раз навсегда запомнил, что мои цели лежат вне области обвинений и оправданий. Это избавило бы меня от излишних, всегда досадных оговорок. Здесь речь идет хотя и по поводу Достоевского, но не о нем, по крайней мере, *не только* о нем. Для меня важно установить лишь следующее несомненное положение. Достоевский, как и всякий человек, не хотел себе трагедии и избегал ее всячески; если же не избег, то *против* своей воли, в силу внешних, от него не зависящих обстоятельств. Он все сделал, чтоб забыть каторгу — но каторга не забыла его. Он всей душой хотел примириться с жизнью, но жизнь не захотела мириться с ним. Это видно не только из повести, о которой шла речь выше, — это сказывается во всем, что он писал в первые годы по выходе из каторги. Из своего нового опыта он вынес лишь сознание, что есть на земле великие ужасы и глубочайшие трагедии и — для писателя это немного — что

от этих ужасов нужно спастись всякому, кто может. Точь-в-точь как на идущем ко дну корабле: *sauve qui peut*. Во время уединенных размышлений, о которых он так красноречиво рассказывает в «Записках из Мертвого дома», что́ окрыляет его, что́ дает ему веру, бодрость, силы? Сознание, что *ему* не суждено разделить участь товарищей-арестантов, что *его* ждет новая жизнь. Он принимает то, что с ним происходит, он покоряется судьбе, ибо ждет иного. Вот его собственные слова: «...какими надеждами забилося тогда мое сердце. Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертил себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все это исполню и могу исполнить... Я ждал, я звал поскорей свободу, я хотел себя испробовать вновь, на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение»*.

Так отозвался Достоевский на свою каторгу. Он хотел и мог видеть в ней только временное испытание и ценил его лишь постольку, поскольку оно было связано с новой, великой надеждой. В этом освещении новой надежды он видит и всю каторжную жизнь. Оно-то и придает «Запискам из Мертвого дома» тот мягкий колорит, благодаря которому они находятся на особом счету у критики и пользуются расположением даже тех читателей, которые в позднейших сочинениях Достоевского усматривают лишь проявление неумеренной, *ненужной* жестокости. В «Записках из Мертвого дома» жестокости вложено в меру, ровно столько, сколько нужно — нужно, разумеется, читателям. Есть, конечно, и здесь ужасные, потрясающие описания и безудержа арестантов, и бессердечия острожного начальства. Но все они имеют «нравственный смысл». С одной стороны, людям напоминает, что арестант — «тоже человек и называется брат твой». Для этой цели, наряду с рассказами о зверстве каторжных, имеются захватывающие картины, в которых рисуются добрые чувства обитателей мертвого дома. Рождественский театр, покупка гнедка, острожные животные — козел и молодой орел, — все эти идиллические моменты, с таким искусством и искренностью воспроизведенные Достоевским, дали ему заслуженную славу большого художника и человека великого сердца. Если в каторге не зачерствела его душа, если он среди невыносимых физических и нравственных мук мог сохранить в себе такую отзывчивость ко всему человеческому — значит, таились в нем великие силы! И еще отсюда делался философский вывод, что глубокого, истинного убеждения не может победить никакая каторга... За всеми этими восторгами и заключениями забывался и последний человек, оставшийся

* «Записки из Мертвого дома», с. 289.

доживать свои дни в «мертвом доме» или где-нибудь в ином остроге, в кандалах, на цепи, под вечным присмотром солдат, тот бессрочно-каторжный, которого сам же Достоевский сравнивал (талантливое сравнение, не правда ли?) с заживо погребенным; забывали вместе с тем и справиться о том, что именно предохранило от ржавчины сердце Достоевского. Точно оно было из чистого золота — или тут замешалась иная причина? Вопрос любопытный, конечно. Никогда не мешает проверить легенду о золотых сердцах, хотя бы затем, чтоб иметь лишнее доказательство ее истинности.

Уже приведенная выше выписка возбуждает некоторое недоумение в читателе: слишком много ждет для себя золотое сердце! Но ожидание новой жизни всегда сопровождало и утешало в каторге Достоевского. В «Записках из Мертвого дома» о «новой жизни» вспоминается каждый раз, как только лицо, от имени которого ведется рассказ, почему-либо особенно сильно чувствует свое тяжелое положение. Так, например, в ночь после первого представления в театре Горяничков случайно просыпается. «В испуге, — рассказывает он, — я приподнимаю голову и оглядываю спящих товарищей при дрожащем свете шестериковой казенной свечи. Я смотрю на их бледные лица, на их бедные постели, на всю эту непроходимую голь и нищету — и точно мне хочется увериться, что все это не продолжение безобразного сна, а действительная правда»*. И как справляется Достоевский с этим ужасным видением? Ведь отличный случай облиться слезами: никакой вымысел не сравнится с тем, что он увидел. Но в каторге — не плачут. Об этом мы еще узнаем подробнее от Достоевского же. А пока вот его непосредственный ответ: «Не навсегда же я здесь, а только на несколько лет, думаю я, и склоняю опять голову на подушку». Слышите? Только такой ответ годится на заданный вопрос: надеюсь, вы заметили вопрос. Ссылка на театр, козла, гнедка здесь не принимается. Не вспоминаются и гуманные рассуждения, встречающиеся в других местах «Записок». Примириться можно на одном — что каторга не навсегда, а на время. Достоевский ни на минуту не забывал этого, пока был арестантом. «Я еще хотел жить и после острога»**, — говорит он.

V

Правильному пониманию «Записок из Мертвого дома» много мешало предисловие. Какая была в нем нужда? Зачем было Достоевскому рассказывать вымышленную историю, будто записки принадлежат

* Т. 3, с. 168.

** Там же, 232.

дворянину Александру Петровичу Горянчикову, сосланному в каторгу за убийство жены? Для цензуры? Но ведь в «Записках» нисколько не скрывается, что Горянчиков попал в каторгу по политическому делу. Так, когда ему вздумалось присоединиться к претензии арестантов, другие политические ссыльные напоминают ему, что он своим участием может лишь все дело испортить: «Вспомните, — говорят они ему, — за что мы сюда пришли». И еще по иным поводам делаются весьма прозрачные намеки на то, что автор записок — не уголовный, а политический преступник. Словом, цензуру предисловие обмануть не могло. Если оно обмануло кого, то читателя, представив ему в ложном свете самого Горянчикова, ведущего рассказ. По предисловию судя, мы имеем дело с человеком, безвозвратно погибшим для жизни. Он ни с кем не разговаривает, ничего даже не читает и доживает в глуши Сибири последние дни, выходя из своей каморки лишь затем, чтобы добыть уроками жалкие гроши. И умирает он одиноко, всеми забытый и всех забывший. Конечно, бывают такие заживо погребенные люди и на воле, не только в тюрьмах. Но такие люди не пишут своих воспоминаний — а если и пишут, то уже наверное не в тоне «Записок из Мертвого дома». Где взяли бы они глаза, чтобы видеть арестантские забавы и развлечения? Где взяли бы они жизненности, чтоб умиляться над разного рода «добром», отысканном в каторге Достоевским? Горянчиков мог бы описать (если бы стал описывать: повторяю, такие люди редко пишут) беспросветный вечный ад. У него нет надежды — разве это не значит, что надежда погибла для всего мира? Это я не как принцип хочу ввести, — читателю еще нечего протестовать, — я пока только «психологически» говорю. Сам Достоевский в пору составления записок и во все время своего пребывания в каторге был прямой противоположностью Горянчикова. Он был прежде всего человеком надежды — и великой надежды, и потому его способ понимания мира, его философия была тоже *философией надежды*. Это и предоохранило его сердце от ржавчины, это и было причиной, почему он вынес из каторги нетронутой всю ту «гуманность», которую он туда принес с собой. Если бы на его душе лежало вечное проклятие, как на душе Горянчикова, помогла ли бы ему гуманность? Поддержали ли бы его дух «убеждения», как он сам рассказывает, или, наоборот, «убеждения» сами нуждались, несмотря на всю возвышенность, в поддержке? Этот вопрос именно здесь уместен. Горянчиков бы не написал «Записок из Мертвого дома» — а Достоевский написал. Если же в этом романе слышится от времени до времени резкий диссонанс, если порой вы встречаете отдельные сцены и замечания, неожиданно нарушающие общую гармонию «гуманного» настроения, то это нужно отнести на счет изменчивости и непостоянства надежды. Ведь она са-

мое капризное существо: она приходит и уходит, как ей вздумается. Наверное, во время пребывания Достоевского в каторге не раз покидала она его — и надолго. И вот в эти-то минуты, когда он чувствовал себя действительно навеки, навсегда сравненным с последним человеком, в нем зарождались те новые и страшные душевные элементы, которым суждено было впоследствии развиться совсем в иную философию, в настоящую философию каторги, безнадежности, в философию подпольного человека. Со всем этим нам еще не раз придется иметь дело. Но пока это еще скрыто; пока «гуманность» держится непоколебимо, пока Достоевский хочет лишь одного: вернуться к прежней жизни, делать прежнее дело, только лучше, чище, без отступлений, слабости, уступок. Пока о «перерождении» убеждений еще не может быть речи. Естественный порядок вещей еще не возвышает своего голоса, и гуманность торжествует.

В этом отношении очень важны и интересны публицистические статьи Достоевского, относящиеся к описываемому периоду. Их немного. Они печатались в журнале «Время» за 1861 год. Несмотря на то, что они большей частью носят полемический характер, спокойствие тона, уважительное отношение к противнику, наряду с чувством собственного достоинства и соответствующей ему энергией языка и мысли, — поистине неслыханные. Не то что неслыханные для Достоевского, полемика которого (например, его возражения проф. Градовскому) иногда бывала просто неприличной, но неслыханные во всей литературе. Обыкновенно как начинается полемика, так тотчас же забывается даже самый предмет спора. Противники лишь стараются перецеголять друг друга остроумием, находчивостью, диалектикой, ученостью. В статьях же Достоевского нет ничего подобного. Он не хочет меча — он хочет мира. Мира — и с Добролюбовым⁸, в котором он, несмотря на крайности его воззрений, ценит талантливое писателя, мира и со славянофилами, которых он укоряет за их фанатическое пренебрежение к заслугам всей неславянофильской литературы. В этом знаменательно и то, что Достоевский ищет примирения, — тот Достоевский, который после «Пушкинской речи», так горячо звавшей к объединению все партии, не выдержал и первого возражения и сразу же сбросил маску «натасканного» на себя всечеловечества; но вместе с тем не следует забывать — особенно тем, кто ценит в нем пророческий дар, — его возражения славянофилам по поводу начавшейся тогда издаваться газеты «День». Впрочем, пожалуй, наоборот: скорей следует им совсем позабыть полемику с «Днем», ибо она решительно компрометирует пророческие способности Достоевского. Ну что это за пророк, если он не мог предугадать собственное будущее — и очень недалекое? Если в 1861 году он так серьезно и искренне упрекал славянофилов

за то, что они не умеют оценить заслуги западников и так горячо защищал западников, в которых впоследствии будет сам видеть только хихикающих либералов? Человеку даже примечательному, даже гениальному позволительно ошибаться; но ведь пророк потому только и пророк, что он всегда безошибочно знает будущее. Статья, о которой здесь идет речь, мало известна. Потому будет не лишним привести две-три выдержки из нее. Они окончательно убедят читателя, что Достоевский в каторге не забыл своей веры. Вот первая (я беру почти без выбора — вся статья написана в таком духе): «Скажем прямо: предводители славянофилов известны как честные люди. А если так, то как можно сказать о всей литературе (т.е. собственно западной литературе), что она “равнодушна к скорбям народным”? Как сметь сказать: “О порицании нашей народности *не в силу негодующей пылкой любви* (подчеркнуто у Достоевского), *но в силу внутреннего нечестия*, инстинктивно враждебного всякой святыне чести и долга?” Что за фанатизм вражды! Кто мог сказать это, кроме человека в последней степени фанатического исступления!.. Да тут пахнет кострами и пытками»*. Подчеркнутая фраза взята Достоевским из статьи «Дня». Она приводит его в негодование, он забыть ее не может и дальше, снова выписывая ее, восклицает: «как поднялась у вас рука написать ее!» Впоследствии у Достоевского поднималась рука и не такие фразы писать. Кто, говоря о западниках и об их борьбе с дореформенными порядками, сомневался в том, чтобы у них под видимым смехом были невидимые слезы?! А разве славянофилы под «внутренним нечестием» понимали что-либо иное? Но пока Достоевский еще не подозревает, до чего ему придется договориться впоследствии. Пока он «убежденно» держит сторону западников: «Будто бы в западниках *не было того же чутья русского духа и народности* (подчеркнуто мной), как и в славянофилах? Было, но западники не хотели по-факирски заткнуть глаз и ушей пред некоторыми непонятными для них явлениями; они не хотели оставить их без разрешения и во что бы то ни стало отнестись к ним враждебно, как делали славянофилы; не закрывали глаз для света и хотели дойти до правды умом, анализом, понятием... Западничество обратилось к *реализму*, тогда как славянофильство до сих пор стоит на смутном и неопределенном идеале своем»... И еще, «западничество шло путем беспощадного анализа и за ним шло все, что только могло идти в нашем обществе. Реалисты не боятся результатов своего анализа. Пусть ложь в этой массе, пусть в ней сброд всех лжей, которые вы с таким наслаждением перечитываете. Мы не боимся этого злорадного исчисления наших болезней. Пусть это лжи, но движет нас

* Т. 9, с. 154.

правда. Мы в это веруем» *... И т.д. — вся статья написана в таком роде. По содержанию она не представляет собой ничего примечательного. Такими статьями были полны журналы шестидесятых годов. Здесь важно лишь то обстоятельство, что Достоевский в это время еще, по-видимому, не подозревал, как далеко придется ему уйти от всех этих идей, несмотря на то, что ему уже было сорок лет, что он многое уже пережил — и ссору с Белинским, и каторгу, и солдатчину. Он не смеет и думать, что вера скоро оставит его. Он страстно прославляет реализм, анализ, западничество. А меж тем — он уже накануне великого душевного переворота. Это последнюю дань несет он гуманности. Еще немного времени — и старый идеал рухнет, подкошенный невидимым врагом. Начнется эпоха подполья...

VI

И когда же она начинается? Факт примечательный: как раз тогда, когда, по-видимому, стали сбываться заветнейшие надежды поколения пятидесятых годов. Крепостное право пало. Целый ряд предполагаемых и выполняющихся реформ сулит осуществить в жизни ту мечту, которой отдался Белинский, над которой плакала Наташа («Униженные и оскорбленные»), когда Иван Петрович читал ей свою первую повесть. До сих пор только в книгах говорили о «последнем человеке» — теперь права его признали всенародно. До сих пор «гуманность» была только отвлеченностью — теперь ее призвали хозяйничать в жизни. Самые крайние идеалисты в начале 60-х годов должны были признать, что действительность, обыкновенно столь медленная и неподвижная, на этот раз не слишком отстаёт от их мечтаний. В литературе было великое празднество. Один лишь Достоевский не разделяет общего ликования. Он стоит в стороне, точно ничего необычайного не произошло. Более того, он прячется в подполье: надежды России — не его надежды. Ему нет до них дела...

Как объяснить такое равнодушие величайшего русского писателя к тем событиям, которые в нашей литературе считались полагающими начало новой эры русской истории? Ходячее объяснение просто: Достоевский был большим художником, но плохим мыслителем. Известна цена ходячим объяснениям. Это — стоит не больше других, но, как и всякое общее место, оно заслуживает внимания. Недаром явилось оно на свет Божий. Оно нужно было людям, но не затем, чтобы открыть путь истине, а наоборот, чтобы закрыть ей все пути, чтоб задушить ее, не дать ей ходу. Дивиться тут, впрочем, нечему, если

* Пб., с. 157.

вспомнить, о какой «истине» здесь идет речь! И как было не душиТЬ ее, когда она самого Достоевского приводила в ужас?! Я приведу здесь лишь один небольшой отрывок из записок подпольного человека. Вот что он говорит пришедшей к нему за «нравственной поддержкой» женщине из публичного дома: «... на деле мне надо знаешь чего? Чтоб вы провалились, вот чего. Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас за копейку продам. Свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»*. Кто это говорит так? Кому пришло в голову вложить в уста своего героя слова такого чудовищного цинизма? Тому самому Достоевскому, который еще недавно с таким горячим и искренним чувством произносил уже несколько раз цитированные мною слова о последнем человеке. Вы понимаете теперь, какой неслыханной силы удар был нужен для того, чтоб перебросить его в такую отдаленную крайность?! Вы понимаете теперь, какая истина должна была ему открыться? О, тысячу раз были правы наши публицисты, когда подыскивали взамен такой истины общее место!

«Записки из подполья» — это раздирающий душу вопль ужаса, вырвавшийся у человека, внезапно убедившегося, что он всю свою жизнь *лгал*, притворялся, когда уверял себя и других, что высшая цель существования — это служение последнему человеку. До сих пор он считал себя отмеченным судьбой, предназначенным для великого дела. Теперь же он внезапно почувствовал, что он ничуть не лучше, чем другие люди, что ему так же мало дела до всяких идей, как и самому обыкновенному смертному. Пусть идеи хоть тысячу раз торжествуют: пусть освобождают крестьян, пусть заводят правые и милостивые суды, пусть уничтожают рекрутчину — у него на душе от этого не становится ни легче, ни веселее. Он принужден сказать себе, что если бы взамен всех этих великих и счастливых событий на Россию обрушилось несчастье, он чувствовал бы себя не хуже — может быть, даже лучше... Что делать, скажите, что делать человеку, который открыл в себе самом такую безобразную и отвратительную мысль? Особенно писателю, привыкшему думать, что он обязан делиться с читателями всем, что происходит в его душе? Рассказать правду? Выйти на площадь и открыто, всенародно признаться, что вся прежняя жизнь, все прежние слова были ложью, притворством, лицемерием, что в то время, когда он плакал над Макаром Деушкиным, он нимало не думал об этом несчастном и только рисовал картины на утешение себе и публике? И это в сорок лет, когда начинать новую жизнь невозможно, когда разрывать с прошлым — значит заживо похоронить

* «Записки из подполья», с. 171.

себя... Достоевский пытается продолжать говорить по-старому; почти одновременно с «Записками из подполья» он пишет своих «Униженных и оскорбленных», в которых усиленно натаскивает на себя идею самоотречения, несмотря на то, что валится под ее тяжестью. Но где взять сил для такого систематического обмана и самообмана? Он уже с трудом выдерживает тон в «Униженных и оскорбленных». И там есть страницы, в которых прорывается злоеший свет нового откровения. Их, правда, немного. Подпольный человек там виден только в разговоре князя (ночью в ресторане) с Иваном Петровичем, — но этого достаточно, чтобы понять, какая гроза собирается в душе Достоевского. Князь все время нахальнейшим образом смеется над «идеалами» и «Шиллером», а бедный Иван Петрович сидит, точно в воду опущенный, и не умеет не только защититься, но даже держать себя хоть с некоторым достоинством. Позволить, хотя бы в романе, кому-либо так едко насмеяться над своей святыней — значит сделать первый шаг к ее отрицанию. Правда, Достоевский только один раз дал торжествовать князю — и то на минутку. Затем, на дальнейших страницах все действующие лица словно щеголяют друг перед другом своим благородством и самоотверженностью. Но одна ложка дегтю портит целую бочку меда. Тем более что и мед-то не настоящий, а искусственный, поддельный. Пафос Достоевского иссяк. Добро, служение идее не вдохновляют его больше.

«Записки из подполья» есть публичное — хотя и не открытое — отречение от своего прошлого. «Не могу, не могу больше притворяться, не могу жить в этой лжи идей, а другой правды нет у меня; будь, что будет» — вот что говорят эти записки, сколько бы Достоевский ни открещивался от них в примечании. Ни разу, ни у одного русского писателя его «слово» не звучало такой безнадежностью, таким отчаянием. Этим-то и объясняется то неслыханное дерзновение (граф Толстой сказал бы «наглость» — ведь говорил он так о Ницше), с которым Достоевский позволяет себе оплевывать самые дорогие и святые человеческие чувства. Я заметил уже, что в «Записках из подполья» Достоевский рассказывает свою собственную историю. Эти слова, однако, не следует истолковывать в том смысле, что ему самому пришлось на самом деле так безобразно обойтись со своей случайной подругой; нет, история с Лизой, конечно, выдумана. Но в том-то и весь ужас записок, что Достоевскому понадобилось хоть мысленно, хоть в фантазии проделать такое безобразие. Не Лизу он здесь выгнал от себя. Я уверен, что в его душе нашлось бы всегда достаточно непосредственного чувства сострадания для того, чтоб воздержаться от слишком резкого проявления вспышек гнева и раздражения. Ему нужен был образ Лизы лишь затем, чтобы оплевать и втоптать в грязь

«идею», ту самую идею, которой он служил в течение всей своей жизни. Эпиграфом к той главе, в которой рассказывается эта ужасная история, взято начало известного Некрасовского стихотворения: «Когда из мрака заблужденья». Вот над этим-то стихотворением и над святыней тех людей, от которых он когда-то «страстно принял» новое учение, так безумно и кощунственно ругается теперь Достоевский. Но это был единственный выход для него. Он не мог больше молчать. В его душе проснулось нечто стихийное, безобразное и страшное — но такое, с чем совладать было ему не по силам. Он все сделал, как мы видели, чтоб сохранить свою старую веру. Он продолжал молиться своему прежнему богу даже и тогда, когда в его душе не было почти никакой надежды, что молитва будет услышана. Ему все казалось, что сомнения пройдут, что это только искушение. В последние минуты он — уже одними губами — продолжал шептать свое заклинание: «Познается, что последний человек есть тоже человек и называется брат твой». Но слова этой молитвы не только не утешали его — они были тем ядом, который отравил Достоевского, хотя в них видели, продолжают до сих пор видеть безопасные и даже укрепляющие душу слова... Благо тому, кто в этой фразе чувствует только поэзию братства! Но каково справиться с ней, когда на первый план выступает ничтожество и бессмыслица существования последнего человека? Как вынести ее, если весь ужас такого последнего существования узнаешь по собственному опыту? Когда поэзия братства будет уже предназначаться для новых, входящих в жизнь людей, а тебе лично придется взять на себя роль Макара Деушкина, объекта умиления возвышенных душ? Что тогда даст великая идея гуманности? Надежду на будущее, очень, конечно, отдаленное, мечты об ином, счастливом устройении человечества?... А пока вечная, постылая и лицемерная роль жреца всего «прекрасного и высокого»... Прекрасное и высокое в кавычках — не моя выдумка. Это я нашел в «Записках из подполья». Там все «идеалы» в таком виде представлены. Там и Шиллер, там и гуманность, и поэзия Некрасова, и хрустальное здание, словом все, что когда-то наполняло умилением и восторгом душу Достоевского, — все осыпается градом ядовитейших и собственнейших сарказмов. Идеалы и умиление по поводу их вызывают в нем чувство отвращения и ужаса. Не то, чтоб он оспаривал возможность осуществления идеалов. Об этом он и не думает, не хочет думать. Если когда-нибудь и суждено сбыться великодушным мечтам его юности — тем хуже. Если когда-нибудь осуществится идеал человеческого счастья на земле, то Достоевский заранее предаст его проклятью. Скажу прямо: до Достоевского никто не осмеливался высказывать такие мысли, хотя бы и с соответствующими примечаниями. Нужно было великое отчаяние для того, чтобы такие мысли возникли

в человеческой голове, нужна была сверхчеловеческая дерзость, чтоб явиться с ними пред людьми.

Вот почему Достоевский никогда не признавал их своими и постоянно имел в запасе показные идеалы, которые он тем истеричнее выкрикивал, чем глубже они расходились с сущностью его заветных желаний и, если хотите, с желаниями всего его существа. Его позднейшие произведения все до одного почти проникнуты этой двойственностью. Спрашивается — чего нам искать в них, что ценить? Рвавшие ли наружу, вопреки «совести и разуму», говоря излюбленными толстовскими словами, запросы его души или изготовляемые по более или менее обычному шаблону рецепты высокой жизни? На какой стороне истина? До сих пор «совесть и разум» считались последними судьями. Все, что есть у нас по части идеалов и надежд, создавалось ими одними. Но теперь, когда обнаруживается судья над этими судьями, что нам делать? Внять ли его голосу, или, оставаясь верными традициям, вновь привести его к молчанию? Я говорю «вновь», ибо не раз уже люди слышали этот голос, но всегда, объятые ужасом, заглушали его торжественными кликами в честь старых судей. И сам Достоевский так делал, хотя в этом смысле его сочинения напоминают речи тех проповедников, которые, под предлогом борьбы с безнравственностью, рисуют завлекательные картины соблазна... Что бы ни говорили люди традиции, сомнения уже быть не может. Нужно выслушать человека таким, каков он есть. Отпустим ему заранее все его грехи — пусть лишь говорит правду. Может быть — кто знает? — может быть, в этой правде, столь отвратительной на первый взгляд, есть нечто много лучшее, чем прелесть самой пышной лжи? Может быть, всю силу скорби и отчаяния должно направить совсем не на то, чтоб изготовлять людям годные для их обыденной жизни учения и идеалы, как делали до сих пор учителя человечества, всегда ревниво скрывавшие от посторонних глаз свои собственные сомнения и несчастья? Может быть, нужно бросить и гордость, и красоту умирания, и все внешние украшения и опять попытаться увидеть так оклеветанную истину? Что, если старое предположение, что дерево познания не есть дерево жизни, — ложно? Стоит проверить этот предрассудок, наряду с обуславливающей его теорией естественного развития! Оскорбленная во всем святом для нее душа, быть может, найдет в себе силы для новой борьбы...

VII

Таков первый момент рождения убеждений: исчезла надежда на новую жизнь, о которой столько мечталось в каторге, и вместе с тем погибла вера в учение, казавшееся доселе незыблемым и вечно ис-

тинным. Сомнения быть не может: не надежда держалась учением, а наоборот, — учение держалось надеждой. С этим сознанием кончается для человека тысячелетнее царство «разума и совести»; начинается новая эра — «психологии», которую у нас в России впервые открыл Достоевский. Между прочим, прямой антагонизм между «разумом и совестью» с одной стороны и «психологией» — с другой, до сих пор мало кто решается признать открыто. Большинство предполагает возможным сохранить старую иерархию, при которой психологии приходится занимать подчиненное положение. Ее дело — лишь доносить о том, что происходит в человеческой душе, верховные же законодательные права по-прежнему остаются за совестью и разумом, которым дано решать, чему «должно быть» и чему быть не должно. Такое предположение разделяется даже людьми, наиболее способствовавшими успехам психологии. Так, например, гр. Толстой, своими произведениями по крайней мере настолько же, насколько и Достоевский, в течение десятков лет подрывавший в нас доверие к законности притязаний всякого рода безусловностей, до сих пор продолжает превозносить превыше всего «разум и совесть». Он обладает особым искусством произносить эти слова таким тоном, что всякое сомнение в их святости и неприкосновенности начинает казаться возмутительным кощунством. В этом отношении Достоевский никогда не мог сравниться с гр. Толстым. Однако ни тому ни другому не удалось соединить несоединимое. Их беспокойные попытки возвратиться к старым «хорошим словам» свидетельствуют лишь о том, что дело разрушения не только не менее, но много более трудно, чем дело созидания. Только тот решается разрушать, кто уже иначе жить не может. И если в этом направлении Достоевский пошел дальше гр. Толстого, то отнюдь не потому, что был добросовестней, честней или искренней. Нет — в таких делах мера решимости определяется совсем иными законами. Человек всеми силами старается сохранить доставшуюся ему в наследие веру и отказывается от своих прав лишь в случае полной невозможности удержать их за собой. Достоевский, как видно из послесловия к «Подростку», мечтал о творчестве в духе гр. Толстого. «Еще Пушкин, — говорит он, — наметил сюжет будущих романов своих в “преданиях русского семейства”, и поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере, тут все, что было у нас хоть сколько-нибудь законченного». И затем далее, рассуждая о романисте, который бы взялся за намеченную Пушкиным тему, он продолжает: «такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории... Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средне-высшего

культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской — этот потомок предков своих уже не мог быть изображен в современном типе своем, иначе как в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде. Даже должен явиться каким-нибудь чудаком»... Если вспомнить, что впоследствии Достоевский, по поводу «Анны Карениной», называл гр. Толстого историком средне-высшего круга, то станет вполне ясно, что в приведенных цитатах речь идет о «Войне и мире» и выведенных в этом романе типах. Красота и законченность толстовских образов пленяет Достоевского. И ему бы хотелось определенности, ясности и полноты жизни; но он должен признаться, что такое «счастье» уже навсегда поглощено историей, что современный человек может только вспомнить о былом, которого никогда уже не вернуть. Покорный судьбе, он направляется к своим уединенным и мизантропическим чудакам. Однако Достоевский в этих своих суждениях не совсем прав. Ему самому, конечно, нечего делать среди героев «Войны и мира». Для него эти люди — история и только история. Но их творец, гр. Толстой, совсем иначе смотрел на них и вовсе не желал их обращать в мираж прошлого. Наоборот, он хотел в них видеть вечно настоящее, неизменное. Для него Пьер Безухов, Наташа, Ростов, княжна Марья — не давно отжившие люди, принужденные уступить свое место новому «уединенному и мизантропическому», т.е. подпольному человеку — он настаивает на том, что все они — герои настоящего дня. Настаивает, правда, иногда преувеличенно, резко, так что этим уже до некоторой степени выдает себя. «Война и мир» есть произведение человека, которому нужно не только многое вспомнить и рассказать, но также кой о чем забыть и кой-что замолчать. Здесь нет той естественной прочности и устойчивости, которая чувствуется в «Капитанской дочке». Гр. Толстой не ограничивается, как Пушкин, ролью повествователя, художника. Он постоянно *проверяет* искренность и правдивость каждого почти слова своих героев. Ему нужно знать, точно ли они верят во все, что делают, точно ли они знают, куда идут. Он тоже психолог, как и Достоевский, т.е. он тоже ищет корней. А ведь все корни — глубоко под землей, значит и гр. Толстому знакома глухая, подземная, подпольная работа. Той гомеровской, патриархальной наивности, которую ему приписывают, он не достигает, хотя и стремится к ней всеми силами. В этих делах «свободная воля» изменяет человеку. Он хочет веры, а занимается проверкой, которая всякую веру убивает. Только своему колоссальному художественному дарованию гр. Толстой обязан тем, что читающая публика не почувствовала, сколько искусства, я почти готов сказать, искусственности, потребовалось великому писателю земли русской, чтоб создать свои замечательные произведе-

дения. И не только творчество, вся жизнь гр. Толстого носит на себе следы вечной борьбы с «психологией», с подпольем. Но о его жизни еще судить преждевременно. Его же писательская деятельность — одно непрерывное стремление так или иначе — силой, хитростью, обманом — победить упорного врага, подрывающего в самых основах возможность счастливого и светлого существования. И это в значительной степени удается ему. Он платит свою дань подполью — правильную, постоянную дань, но всегда с таким видом, как будто бы то была не дань, а добровольные приношения, разрешаемые «разумом и совестью». У Достоевского подпольный человек, отметив ложь своей жизни, приходит в ужас и сразу порывает со всем своим прошлым. У гр. Толстого его герои никогда не перестают верить в «прекрасное и высокое» — даже в те моменты, когда пред ними выясняется во всей полноте несоответствие действительности с идеалами: они позволяют действительности войти в свои права, но не перестают ни на минуту чтить идеалы. Так, поражения русских войск, сдача Москвы и т. д. ни на кого из героев «Войны и мира», не принимающих непосредственного участия в военных действиях, не производят слишком удручающего впечатления. Гр. Толстой неоднократно отмечает это обстоятельство, так что, собственно говоря, должно было бы получиться такое впечатление, как и от обращенных к Лизе слов подпольного человека: «Я скажу, чтоб свету провалиться, а чтоб мне всегда чай пить». Но такого впечатления не получается. Например, Николай Ростов беседует с княжной Марьей и, конечно, в их разговоре злоба дня не обойдена. Но как они относятся к великой трагедии, разыгрывающейся на их глазах? «Разговор был самый простой и незначительный (!). Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии». Несколько дальше гр. Толстой еще поясняет: «видно было, что о несчастиях России она (княжна Марья) могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем». Эти замечания необычайно характерны для «Войны и мира». Гр. Толстой везде, где только может, напоминает нам, что для лучших людей 12-го года несчастья России значили меньше, чем их собственные, личные огорчения. Но при этих напоминаниях он умеет сохранить необыкновенную на вид ясность души, точно ничего особенного не произошло, точно и в самом деле разум и совесть могут спокойно глядеть на проявление такого чудовищного эгоизма. И действительно, разум и совесть остаются спокойными. Очевидно, им нужен только внешний почет, нужно уметь только говорить с ними в известном тоне, как с капризными деспотами, и они делаются совсем ручными. Какой бы гам подняли они, если бы вместо того, чтобы «притворно» огорчаться

бедствиями России, княжна Марья, например, прямо заявила, на манер подпольного человека: «России ли погибнуть, или мне чаю не пить? Я скажу — пусть себе гибнет Россия, а чтоб мне чай был». По существу, у гр. Толстого и княжна Марья, и Николай Ростов говорят именно так. И все другие действующие лица этого романа (*лучшие*, конечно — и именно лучшие, худшие не позволяют себе такой откровенности) немногим превосходят их в своем патриотизме. В конце концов гр. Толстой окольным путем все сводит к проявлению человеческого эгоизма. Но тем не менее прекрасное и высокое не попадает в кавычки и сохраняет свое прежнее почетное положение. Граф Толстой находит возможным принять без ожесточения жизнь такой, какова она есть. Осторожно, невидимо для читателя, он отнимает суверенные права у разума и совести и делает мерою вещей самого себя, т.е., проще говоря, каждого человека. Но он хочет полной теоретической победы («санкции истины», как говорит Достоевский) и потому не упраздняет открыто все прежние власти, а лишь фактически и исподволь (гр. Толстой всегда действует исподволь) устраняет их от всякого влияния на жизнь. И он знает, что делает. Ему необходимо еще сохранить в известных случаях престиж и обаяние старых авторитетов. Он, конечно, уже им служить не будет — но они еще послужат *ему*. Во всех тех случаях, когда он собственными силами не сможет бороться, он обратится к их чудесному содействию, и они своим властным голосом поддержат его в трудные минуты.

VIII

Достоевский, разбирая «Анну Каренину», заметил между прочим: «Анна Каренина совсем не невинная вещь». Еще бы! Нужно быть самому очень уж невинным человеком для того, чтобы в творчестве гр. Толстого увидеть лишь одну поэзию. Любопытно, однако, что несколько раньше, до появления последней части «Анны Карениной» (вышедшей отдельным изданием), тот же Достоевский назвал Левина человеком «чистой души». Не правда ли, в некоторых случаях следует с большой осторожностью относиться к общепринятым словам?! Ведь чистой души человек, это — та же «невинность», — а Левин — герой «Анны Карениной», в нем весь смысл романа. Но Достоевский, выступая в роли литературного критика, считал себя обязанным *quand-même*⁹ поддерживать всякого рода идеалы — поэтому и к Левину применяется столь младенчески нежный эпитет. На самом деле Достоевский хорошо знал цену Левину, и если имел сперва намерение держать свое знание про себя, то у него была на то важная причина. Появление последней части «Анны Карениной», в которой гр. Толстой

позволяет себе смеяться над увлечением добровольческим движением, взорвало Достоевского и заставило его сказать больше, чем дозволяло его литературное положение и обязанности верующего проповедника. Да и гр. Толстой дал в «Анне Карениной» слишком много простора «подпольному человеку». Левин, например, прямо заявляет, что «ни-какого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть», и встречает в старом князе (лице, очень симпатичном автору, как видно по ходу романа) сильную поддержку. «Вот и я, — говорит князь, — никак не понимал, почему все русские вдруг так полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую... Но, приехав сюда, я успокоился; я вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями славянами. Вот и Константин». Такие рассуждения в устах положительных героев толстовского романа Достоевский считает неуместными. Все это можно высказать, но с соответствующими примечаниями, по крайней мере хоть в такой форме, в какой это высказывалось в «Войне и мире». Там люди, если и чувствовали себя равнодушными к судьбам своей страны, то по крайней мере притворялись горячо заинтересованными войной и таким образом как бы сознавались в своей «вине». Здесь же Левин напрямик объявляет, что не хочет знать ни о каких страданиях славян. Осталось еще прибавить: было бы только все у меня благополучно. Но на такую дерзость и гр. Толстой не пошел, так что Достоевскому пришлось уже от себя заставить Левина произнести несколько слов в этом роде*.

Столкновение двух великих писателей земли русской по вопросу о сочувствии страданиям славян — высоко знаменательно. Как это случилось, что «разум и совесть», столь непогрешимые и поднесь восхваляемые гр. Толстым судьи, подсказали столь разные решения одинаково примечательным людям? Достоевский больно почувствовал всю обиду, заключающуюся в возможности такого столкновения, и с горечью кончает свою статью: «Такие люди, как автор “Анны Карениной”, есть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики их. Чему же они нас учат?»

И тем не менее столкновение пророков было делом чистого случая! Если бы не славянские дела, Достоевский мог бы найти в «Анне Карениной» и все те элементы, которые его пленяли в «Войне и мире», и читатели так бы и не узнали, что «разум и совесть» не всегда говорят одним и тем же языком. Достоевский, по-видимому, напрасно погорячился. Пусть Левин несколько резче, чем нужно было, высказал свое равнодушие к судьбе славян, пусть он разболтал «тайну певца» — зато он при случае, а то и без всякого случая, курит фимиам иным, очень

* Т. II, с. 264.

высоким и совсем не чуждым Достоевскому идеалам. Отречение от славян вовсе не знаменует у него готовности посягнуть на суверенитет «совести и разума». Наоборот, по своему обыкновению, гр. Толстой если и решается на что-либо необыкновенное, то лишь с их всемилоостивейшего согласия и разрешения. Вспомните, например, разговор Левина с женой в III-й главе 6-й части романа. Левин и «недоволен собой», и чувствует себя «виноватым» и «плохим в сравнении с другими», — даже с Сергеем Ивановичем Кознышевым (которого в душе он ненавидит и всячески старается презирать) — словом, самая требовательная совесть и самый строгий разум должны быть удовлетворены его верноподданническими чувствами. Необыкновенное умиление и размягчение души Левина граничит в этой сцене уже почти с областью комического. Его заигрывание с «добром» напоминает ухаживание гоголевского дьяка за Солохой. Но гр. Толстой не иронизирует над своим героем. Нет — он серьезен, хотя, кажется, и чувствует в глубине души, сколько дерзости кроется в таком отношении к идеалам. Чем больше его Левин замыкается в узкую сферу своих личных интересов, тем «наглее» (о Ницше и Достоевском сказано это слово: справедливость требует применить его и к Левину) становится он в восхвалении добра...

О, «Анна Каренина» совсем не невинная вещь! Левин отчаивается, Левин видит себя на пути к вечному подполью, к каторге на воле, к гибели — и спасается, не разбирая способов спасения. «Чистой души человек!» Недаром его похвалил Достоевский: ворон почувствовал запах тленья и не может скрыть своей радости! Вдумайтесь только хорошенько в жизнь Левина, и вы убедитесь, что не только лгал он добру, когда выражал ему свою глубокую признательность, но обманывал и «счастье», когда уверял себя и Кити, что он счастлив. Все — неправда, от первого до последнего слова. Левин никогда не был счастлив — ни тогда, когда он был женихом Кити, ни тогда, когда он на ней женился. Он только притворялся счастливым. Да и в самом деле, разве годится такая божья коровка (кто хочет — может эпитет опустить), как Кити, в подруги жизни для Левина? Разве мог он полюбить ее? И вообще, разве семейная жизнь — подходящая для Левина атмосфера? Сцены, в которых изображается эта странная пара, несмотря на то, что они выписаны с необыкновенным старанием и талантом, рисуют нам в Левине человека, решившегося проделать все, что при известных обстоятельствах проделывают счастливые и любящие люди. Канун свадьбы — и Левин целую ночь не спит, доходит в бестолковости, как и следует жениху, до крайней степени, собирается обнять всех людей и т.д. Кити беременна — Левин оберегает каждый шаг ее, суетится, дрожит. Наконец, приезжает в гости Васенька Весловский,

и счастливый супруг, точно насилу дождавшись случая, устраивает жене нелепейшую сцену ревности с блестящими глазами, сжатыми кулаками и всем, чему в таких случаях быть полагается. Апофеоз всему этому — изгнание Васеньки. Христиански-кроткий Левин, не желающий обижать турок, не задумываясь, буквально выталкивает в шею гостя. И при этом не только не раскаивается, но радуется: не смелости своей, о которой он и не вспоминает. Он радуется тому, что может, *как и все люди*, ревновать и в ревности своей переходить через всякие границы. В одном из своих писем гр. Толстой говорит, что с отвращением работал над «Анной Карениной». Я полагаю, что этому можно поверить, если иметь в виду, какую задачу ему задал Левин. Что может быть постылей, нежели необходимость во что бы то ни стало изобразить счастливым и «добрым» человека, который был так же чужд добру, как и далек от счастья! А между тем в этом именно и было все дело гр. Толстого. Ему нужно было во что бы то ни стало *пристроить* Левина к обыденной жизни, т.е. дать ему занятие, семью и т.д. На губернских выборах у Левина происходит незначущий на вид, но заслуживающий внимания разговор с знакомым помещиком:

— Вы женаты, я слышал? — спросил помещик.

— Да, — с гордым удовольствием ответил Левин.

С гордым удовольствием! Чем тут гордиться? Человек женился, заслуга не из больших. Но для Левина женитьба не была просто женитьбой, как для всех людей. Она была для него доказательством, что он не хуже, чем другие. Оттого-то он, вопреки своему обыкновению, не столько проверяет свою любовь к Кити, сколько подыскивает для нее соответствующие внешние выражения. Оттого-то он и прощает Кити ее прошлое и соглашается ступать *sur les brisées*¹⁰, как выражается в «Войне и мире» князь Андрей Болконский, Вронского. Отказаться от семьи значило для Левина обречь себя на *capitis diminutio maxima*¹¹, значило потерять один из семи признанных жизненных устоев, а это было для него всего страшней. И он женился на Кити, как женился бы на Долли или на какой хотите не слишком неприятной для него женщине его круга, достаточно приличной, чтоб придать жизни внешне благообразный характер. А его любовь, заботливость, ревность — это одни лишь нервы, играющие комедию для чужих и собственных глаз.

Само собою разумеется, что такой брак возбуждает в человеке чувство гордости: и у меня, говорит он себе, есть почва под ногами. И все, решительно все, что делает Левин, — имеет одну цель: убедить себя и других, что он прочно, с корнями, врос в землю, так, что никакая буря уже не повалит его. Задача Левина вместе с тем и задача гр. Толстого. А между тем великий писатель знает, что есть и падающие, и упавшие

люди, которым уже никогда не подняться. Он часто говорит о них, он выдумывает теории, примиряющие нас с падением. Но самому попасть в категорию падших, принять на себя *capitis diminutio maxima*, потерять право на покровительство человеческих и божеских законов? На это он добровольно ни за что не согласится. Все лучше, чем это. Лучше жениться на Кити, лучше заниматься хозяйством, лучше лицемерить пред добром, лучше обманывать себя, лучше быть таким, как все, — только бы не оторваться от людей, только не оказаться «заживо погребенным». Совсем так, как у Достоевского. Разница в том, что у гр. Толстого была еще чисто внешняя возможность вернуться к людям, а Достоевский уже не имел ее. Достоевскому уже было «все равно» («Сон смешного человека»), он знал, что не уйдет от судьбы. Гр. Толстой еще имеет надежду и до конца своей жизни борется со страшным призраком безнадежности, никогда не оставлявшим его на долгое время в покое.

<...>

XXIX

Итак, *pereat mundus, fiam*¹², пусть весь мир погибнет, подпольный человек не откажется от своих прав и не променяет их на «идеалы» сострадания и все прочие блага в том же роде, специально для него уготовленные современной философией и моралью. Для Достоевского это было страшной истиной, которую он с ужасом и стыдом решался высказывать от имени героев своих романов. У Ницше это новая и величайшая «декларация прав», ради которой и была им предпринята вся подземная работа. Отсюда и жестокость Ницше. Он стремится избавить себя и людей от «страданий». В этом отношении, как во многих других, он далеко ушел от учителя своей молодости, Шопенгауэра. Последний, как известно, учил людей искать в жизни покоя. «Никогда не следует, — писал он, — покупать наслаждения ценою страданий, ни даже хотя бы риском страдания, так как при этом за негативное, стало быть, за призрачное, платишь положительною, реальною ценою. Напротив, в барыше остается всегда тот, кто жертвует наслаждением, чтоб уйти от страдания». Эти слова чрезвычайно характерны для философии Шопенгауэра и для всякой философии вообще. Мудрость официальных мудрецов всегда смотрела на страдание как на нечто нелепое, бессмысленное, ненужное по самой своей сущности, чего следует во что бы то ни стало избегать. И так называемая житейская мудрость, поскольку она выражалась в словах, всегда точно так же относилась к страданию. Большинство народных поговорок рекомендуют умеренность и аккуратность как

высшие добродетели, наилучше обеспечивающие человеку счастливое и спокойное существование. Не гонись за журавлем в небе, а бери синицу — только в руки. А между тем человеческая жизнь, руководимая не поговорками и изречениями мудрецов, а такая, какой она была во все времена и у всех народов, представляется именно вечной, неустанной погоней за недающимся в руки счастьем, этим журавлем в небе, от которого нас так предостерегали всегда моралисты. От синиц с отвращением бегут, хотя их насильно почти суют всем в руки. Генрих IV¹³ мечтал о том, чтобы у каждого поселянина была по воскресеньям к обеду курица. Если бы и поселяне видели в курице свой идеал и стремились только к спокойной и тихой жизни, жертвуя, как учат Шопенгауэр и поговорки, «наслаждением», только бы не страдать, может быть, история человечества была бы менее ужасна. Но поселяне, как и их правители, иначе смотрели на жизнь и никогда не ставили своим идеалом безболезненное существование. Наоборот, человек такой, каким создала его природа, за мгновение счастья, за призрак счастья готов принять целые годы страдания и великого несчастья. В таких случаях он забывает всякие расчеты, всякий счет и идет вперед к неизвестности, часто на верную гибель. Где правда, в словесной ли мудрости или в действительности? Точно ли нужно так бояться неизвестности, страдания и гибели, как привыкли думать мы, учившиеся люди, черпающие свои суждения из веками накопленных книг, или простой человек, не разучившийся доверять своим непосредственным побуждениям, знает больше, чем ученейшие философы? С точки зрения современной положительной науки тут, конечно, и вопроса не может быть. Но Достоевский, побывавший в каторге, узнал от своих товарищей по заключению, т.е. у людей, которых бесстрашие перед страданием привело в мертвый дом, иную истину. Из каторги он вынес «убеждение», что задача человека не в том, чтоб плакать над Макаром Деушкиным и мечтать о таком будущем, когда никто никого уже не будет обижать, а все устроятся спокойно, радостно и приятно, а в том, чтоб уметь принять действительность со всеми ее ужасами. Не хотелось, о, как не хотелось ему принимать эту каторжную истину! Он думал сперва, что отделается от нее платоническим уважением и снова заживет по-старому! Но не человек гоняется за истиной, как полагал Шопенгауэр, а истина за человеком. Каторжная мудрость нагнала Достоевского через много лет, когда он уже жил далеко от Сибири, в Петербурге, среди окружавших его положительных мыслителей, и заставила его признать себя, *служить* себе. «Русский народ любит страдания» — это не был парадокс, как думали противники Достоевского, — это была истина, только истина из другого мира, о котором пишущие люди забыли,

о котором вспоминали лишь затем, чтоб с сверкающими от негодования глазами сказать: его не должно быть. Не должно быть, когда он есть! Достоевский отвечал на это: любите не воображаемый, осчастливленный, а несчастный, безобразный, отвратительный народ. Живите его жизнью. Можете вы это, *хотите* вы этого? Ваша же *помощь*, все ваши реформаторские затеи — самое последнее дело. И в этом увидели парадокс — те «добрые и справедливые», которые пророчески вдохновлялись общественными идеалами и будущим человеческим счастьем...

Теперь вслед за Достоевским является Ницше. И он пришел из каторги — из подземного мира, из области трагедии, откуда нет уже возврата в мир обыденности. Послушайте его — он доскажет то, чего не успел, а может быть, и не умел объяснить Достоевский: «Я же радуюсь, — говорит Заратустра, — великому греху, как моему великому утешению. Но это сказано не для длинных ушей. Не всякие уста имеют право на это слово. Это тонкие, дальние вещи. И бараньим копытом их не должно касаться. Вы, высшие люди! *Думаете ли вы, что я пришел сюда затем, чтобы исправить то, что вы испортили? Или чтоб удобнее постелить страждущим?* Или вам, потерявшим путь, заблудившимся, указать легчайшую дорогу? Нет, нет, трижды нет! Все чаще и чаще лучшие из вас будут гибнуть, ибо вам будет все труднее и труднее». Необходимая оговорка: «Не всякие уста имеют право на эти слова». Надземные люди думают и должны думать (для них есть и обязательная мораль должного и недолжного) иначе. Но Достоевский и Ницше говорили и вправе были говорить от имени подземных людей — этого, конечно, никто оспаривать не станет, даже среди тех, которые не хотят считаться с их воззрениями. Впрочем, если и станут оспаривать — беды большой в этом не будет: философия трагедии далека от того, чтоб искать популярности, успеха. Она борется не с общественным мнением; ее настоящий враг — «законы природы», людские же суждения ей страшны лишь настолько, насколько своим существованием они подтверждают вечность и неизменность законов. Как бы ни был смел одинокий мыслитель, от времени до времени его невольно охватывает ужас при мысли, что большинство, «все», которых он учится презирать, в конце концов все же, быть может, правы. Но если против него разговаривающие и пишущие собратья, то за него молчащий и живущий особенной, неисследованной и таинственной жизнью народ. Не те «умные мужики», у которых ищет подтверждения своему учению гр. Толстой, а тот неумный, грубый, простой народ, который нужно переучивать, переделывать, просвещать, словом, приспособлять к нашим идеалам. Народ, который если и знает поговорки, то живет, во всяком

случае, по иной мудрости, которую мы не в силах дискредитировать в его глазах ни обществами трезвости с чайными, ни школами, ни душеспасительной литературой, ни прогрессом. Он не возражает нам, он даже соглашается с нами, пьет иногда наш чай, читает сочиненные для него гр. Толстым сказки и умиляется им, но жить продолжает по-своему, ища своих радостей и бесстрашно идя навстречу своим страданиям. И это не только русский народ, как писал Достоевский, а всякий. Во Франции, в Италии, в Германии вы видите то же, что и в России. Идеалы о курице к воскресному обеду и всеобщем счастье выдумывались всегда учителями, учеными людьми. Оттого, вероятно, они никогда и не будут осуществлены, хотя оптимисты и полагают, что их царство близко. Уже то обстоятельство, что стали возможны *учителя* вроде Достоевского и Ницше, проповедующие любовь к страданию и возвещающие, что лучшие из людей должны погибнуть, ибо им будет все хуже и хуже, показывает, что розовые надежды позитивистов, материалистов и идеалистов были только детскими грезами. Трагедии из жизни не изгонят никакие общественные переустройства и, по-видимому, настало время не отрицать страдания как некую фиктивную действительность, от которой можно, как крестом от чёрта, избавиться магическим словом «ее не должно быть», а принять их, признать и, быть может, наконец, понять. Наука наша до сих пор умела только отворачиваться от всего страшного в жизни, будто бы оно совсем не существовало, и противопоставлять ему идеалы, как будто бы идеалы и есть настоящая реальность. Для «интеллигенции» наступило трудное время. Прежде она плакала над страдающим народом, взывала к справедливости, требовала иных порядков и, кстати, не имея на это никаких прав, обещала иные порядки и радовалась своей готовности и своему искусству притворяться и лгать, видя в этом исключительное нравственное качество. Теперь к ней предъявлено новое требование. Не наукой, конечно, — наука ведь создавалась учеными и требовала лишь того, что ученым легче всего было исполнить. Теперь жизнь явилась к нам с своими требованиями. Она об идеалах и не вспоминает. С загадочной суровостью она своим немым языком говорит нам нечто такое, чего мы никогда не слышали, чего мы и не подозревали. Ницше и Достоевский только истолковывают ее непонятный язык, когда говорят, что нам будет все хуже и хуже. Наши расчеты не оправдались. Не у поселян будет к воскресному обеду курица, а у нас отнимутся все и материальные, и духовные блага, которыми нас дарила наука. И лишь тогда, когда не останется ни действительных, ни воображаемых надежд найти спасение под гостеприимным кровом позитивистического или идеалистического учения, люди покинут свои вечные мечты и выйдут из той

полутьмы ограниченных горизонтов, которая до сих пор называлась громким именем истины, хотя знаменовала собой лишь безотчетный страх консервативной человеческой природы пред той таинственной неизвестностью, которая называется трагедией. Тогда, быть может, поймут, отчего Достоевский и Ницше ушли от гуманности к жестокости и на своем знамени начертали странные слова: *Wille zur Macht*¹⁴. Задача философии не в том, чтобы научить нас смирению, покорности, самоотречению. Все эти слова были выдуманы философами не для себя, а для других. Когда гр. Толстой говорит: исполняйте волю пославшего вас сюда и слово «пославшего» пишет с маленькой буквы, мы понимаем уже, что он вслед за другими, существовавшими до него проповедниками, требует от нас того, чтоб мы исполняли его *собственную* волю. Не давая себе в том отчета, он в привычной нам и потому не оскорбляющей слуха форме повторяет слова Ницше и подпольного человека: *percat mundus, fiam*. Для всех людей, в конце концов, существует только этот один последний закон (у Достоевского «высшая идея»). Но «великие» более или менее смело выражают его, а невеликие — таят про себя. Закон же остается одним для *всех*. Не вправе ли мы в его универсальности видеть признак его силы и признать поэтому, что «санкция истины» — за героем подполья? И что декларация прав, возвещенная Ницше и его *Wille zur Macht*, есть нечто большее, чем идеалы и *pia desideria*¹⁵, которыми были до сих пор полны ученые книги? Может быть, подпольный человек был несправедлив к «законам природы», когда говорил, что они более всего обижали его! Ведь они же, эти законы, дали ему, ничтожному, презренному, всеми отвергнутому существу гордое сознание его человеческого достоинства, приведши его к убеждению, что весь мир стоит не больше, чем один подпольный человек!

Так или иначе — философия трагедии находится в принципиальной вражде с философией обыденности. Там, где обыденность произносит слово «конец» и отворачивается, там Ницше и Достоевский видят начало и ищут. В «*Also sprach Zarathustra*» есть рассказ о «безобразнейшем человеке», символически рисующий собственную ужасную жизнь Ницше. Он слишком велик, и я могу привести здесь только отрывки из него, но рекомендую читателю, интересующемуся философией Ницше, прочесть его целиком и по возможности в подлиннике. «Ландшафт внезапно изменился, и Заратустра вошел в царство смерти. Здесь высились черные и красные скалы, но не было ни травы, ни дерева, не слышно было птичьих голосов. Это была долина, которой избегают все звери — даже хищные. Только особого рода безобразные, толстые, зеленые змеи приползают сюда под старость умирать. Оттого пастухи и называли эту долину

Змеиной смертью. Заратустра погрузился в мрачное размышление: ему казалось, что он однажды уже стоял здесь. Многие тяжелое вспомнилось ему, так что он все замедлял и замедлял шаг, и, наконец, остановился. Но, поднявши глаза, он увидел на дороге что-то похожее с виду на человека, но едва ли человека: что-то, чему и названия найти нельзя». Это и был «безобразнейший человек», ушедший от людей в мрачную долину Змеиной смерти. Отчего он ушел от людей? «Они (люди) преследуют меня, — говорит безобразный человек Заратустре, — теперь ты мое последнее убежище. Они преследуют меня не своей ненавистью, не своими солдатами: над всем этим я бы смеялся, я бы даже гордился, радовался этому! Разве до сих пор успех не был у тех, которых хорошо преследовали? Ибо кто хорошо преследует, тот научается и следовать: ведь он находится всегда позади. Но их сострадание — от их сострадания я бегу и ищу у тебя убежища. О, Заратустра, защити меня, ты — последняя моя надежда, единственный человек, понявший меня». Такие люди, обитатели «Змеиной смерти», приходят искать надежды у Заратустры. И чего им нужно? Слушайте дальше. Безобразнейший человек говорит: «Каждый на твоём месте бросил бы мне милостыню — свое сострадание, словом или взглядом. Но я не нищий, ты угадал это; я сам богат великим, страшным, безобразнейшим, неизреченнейшим. С трудом вырвался я из толпы сострадательных людей и пошел искать того единственного человека, который учит теперь, что сострадание навязчиво, — тебя, о, Заратустра, который учит, что нежелание помочь более благородно, чем выпрыгивающая вперед добродетель; но сострадание называется теперь добродетелью у всех маленьких людей: они не умеют уважать великое несчастье, великое безобразие, великую неудачу»... Уважать великое безобразие, великое несчастье, великую неудачу! Это последнее слово философии трагедии. Не переносить все ужасы жизни в область *Ding an sich*¹⁶, за пределы синтетических суждений *a priori*, а уважать! Может, идеализм или позитивизм так относится к «безобразию»? Когда Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ», его объявили сумасшедшим — иначе нельзя было спасти идеалы. Но Гоголь был более прав, когда сжигал свою драгоценную рукопись, которая могла бы дать бессмертие на земле целому десятку не «сумасшедших» критиков, чем когда писал ее. Этого идеалисты не допустят никогда, им нужны «творения Гоголя» и нет дела до самого Гоголя и его «великой неудачи, великого несчастья, великого безобразия». Так пусть же они навсегда покинут область философии! Да и зачем она им, наконец? Разве их заслуги недостаточно оправдываются ссылкой на железные дороги, телеграфы, телефоны, потребительные общества и даже на первый том «Мертвых

душ», поскольку он способствует прогрессу? Философия же есть *философия трагедии*. Романы Достоевского и книги Ницше только и говорят, что о «безобразнейших» людях и их вопросах. Ницше и Достоевский, как и Гоголь, сами были безобразнейшими людьми, не имевшими обыденных надежд. Они пытались найти свое там, где никто никогда не ищет, где, по общему убеждению, нет и не может быть ничего, кроме вечной тьмы и хаоса, где даже сам Милль предполагает возможность действия без причины. Там, может быть, каждый подпольный человек значит столько же, сколько и весь мир, там, может быть, люди трагедии и найдут то, чего они искали... Люди обыденности не захотят переступить в погоне за таким невероятным «быть может» роковую черту. Но ведь их никто и не зовет к этому. Оттого-то и вопрос поэта: *aimes-tu les damnés, dis-moi, connais-tu l'irrémissible?*

